Шторм Г. П. Труды и дни Михаила Ломоносова **//** Избранные произведения. В 2-х т. Т. 1. /Вступ. статья М. Козьмина. — М. : Худож. лит., 1985.— С.125 –260.

**Дар художника, труд историка**

(Отрывок)

…Стремление раскрыть истоки не только освободительного движения в России, но и развития ее науки и культуры приводит Г. Шторма к попытке воссоздать образ человека, в котором воплотился гений нашего народа, человека поразительного по энциклопедичности своих знаний и открытий, человека, ставшего началом мех начал для многих сфер русской научной мысли и мощно продвинувшего научную мысль всего мира. «Труды и дни Михаила Ломоносова» — так назвал писатель свою новую книгу, вышедшую в 1931 году. Сам автор в послесловии к ее первому изданию мотивировал свой интерес к личности Ломоносова так: «Я выбрал его как образ беспримерной творческой силы, возникшей в крестьянской среде в самую суровую пору крепостного права... Я выбрал его, потому что его труды были первинами русской научной мысли».

… рисуя «труды и дни» Ломоносова, писатель должен был производить тщательный отбор из колоссального количества исторических материалов, связанных с жизнью Ломоносова и его научной деятельностью.Обширнейшее научное наследие Ломоносова, воспоминания о нем его современников, биографические исследования, архивные материалы, документы эпохи — все это давало обширнейшие возможности для создания образа гениального мыслителя и общественного деятеля. И здесь перед писателем вставала не проблема художественного домысла, а проблема отбора фактов, сведений, документов и художественного осмысления их в контексте времени, в контексте тех тридцати лет (1735—1765), на протяжении которых автором прослеживается деятельность его героя. А время это было бурное. Дворцовые перевороты, борьба за власть между родовитой аристократией и дворянством, немецкое засилье при дворе, в армии, в промышленности, в Академии наук, усиление крепостного произвола и народные волнения. И вот на фоне этого сурового века — судьба гения, опередившего свое время, его труды и открытия, которые приходилось отстаивать в постоянной и порой драматичной борьбе.

Стремясь передать весь накал и значение этой борьбы Ломоносова за научный и технический прогресс, Г. Шторм не пытается проследить все перипетии его бурной и тяжелой жизни. Ломоносов появляется на страницах книги уже двадцатидвухлетним вполне сформировавшимся человеком и мыслителем. Но и последующий жизненный путь Ломоносова и его время не воспроизводятся писателем в своем последовательном движении и эпической полноте. Повествование строится на чередовании отдельных эпизодов из жизни героя и самостоятельных сюжетов. Порою даже не связанные с биографией Ломоносова, они должны — по мысли автора — бросать свет на ту историческую обстановку, в которой он жил и творил. Недаром писатель назвал их «иллюминациями». Однако любой эпизод в историко-биографическом произведении не может даваться вне связи с его главным героем. Иначе он кажется необязательным, искусственно введенным в художественную ткань произведения. Такими неорганическими вставками, ничего не дающими для уяснения образа Ломоносова и его дела, мне представляются рассказ о шарлатане Гильмере, подвизавшемся на врачебном поприще, и история о продаже английским купцам русской пеньки. А вот трагическая судьба студенческого друга Ломоносова, изобретателя русского фарфора Виноградова раскрывает драматизм тех испытаний, которые пришлось переживать людям творческой мысли в условиях самодержавно-крепостнического произвола. Таким испытанием для Ломоносова явились обстоятельства, заставившие его признать теорию флогистона после того, как он доказал ее несостоятельность. Подглавка «Готторпский глобус», рисующая его тяжелые переживания, когда он сравнивает себя с Галилеем, отрекшимся от своей гелиоцентрической идеи, органически вписывается в повествование о Ломоносове и его времени.

Своеобразная композиция произведения Г. Шторма не позволяет отнести его ни к жанру исторического романа или повести, ни даже к жанру исторической хроники, к которому оно наиболее близко по своей исторической точности, достоверности, документальности и почти полному отсутствию художественного вымысла. Сам автор в первом издании этой книги назвал ее «обозрением». «Отбросив соблазны привычных романных форм сюжетного и документального монтажа,— писал он,— я остановился на обозрении, т. е. на серии дробленых эпизодов, долженствующих в общем создать цельную картину возможной сгущенностью содержания и письма».

Отрывочность, раздробленность композиции книги бросается в глаза сразу. А что же дает ей цельность? На мой взгляд, она достигается воспроизведением взаимоотношений личности Ломоносова с его временем. С одной стороны — это противостояние, противоборство. С другой — сложная связь, когда качества человека, сумевшего опередить свое время, оказываются порожденными этим временем, временем становления национального самосознания русского народа. Исторически точное и правдивое изображение взаимоотношений Ломоносова с его временем и составляет сильную сторону книги Г. Шторма.

Рисуя эпизоды из русской жизни середины XVIII века, писатель выдвигает на первый план ее анекдотическую и трагическую стороны, показывает, как одна переходит в другую. На первых же страницах книги разыгрывается трагикомический эпизод: латинская форма императорского титула, употребленная в переложении псалма Тредьяковским, чуть ли не становится предметом расследования в Тайной канцелярии. Исполнены юмора сцены столкновений профессоров Академии. Анекдотический характер приобретает в конце книги фигура Шумахера, из полновластного хозяина Академии превратившегося в беспомощного, страдающего сонной болезнью старика. Полны иронии и сарказма строки, посвященные императрице Елизавете, правительнице легкомысленной и невежественной, склонной изливать свою душу в сентиментальных стихах, лейтмотивом которых является жалоба на трудности жизни: «Ах, трудновато жить!» Обыгрывая эту столь комичную в ее устах жалобу, писатель обращается к подлинным трудностям тогдашней русской жизни. «Ах, трудновато жить!» Особенно, если утрачены последние признаки крестьянской свободы. «Ах, трудновато жить!» Особенно, если за неосторожно сказанное слово подвергаешься жестоким пыткам в Тайной канцелярии. «Ах, трудновато жить!» Особенно, если избранное тобой дело гибнет из-за высочайшего невежества и прихоти. И именно после этого авторского «комментария» к стихам Елизаветы говорится о гибели Виноградова, сошедшего с ума и посаженного на цепь.

Сквозь множество исторических эпизодов, рисующих жизнь России середины XVIII века, проходит линия судьбы Ломоносова, раскрываются черты его фантастически одаренной натуры, характер независимый и вспыльчивый, его «благородная упрямка», его готовность отстаивать свое достоинство и достоинство русской науки. Нелегко дается ему, выходцу из народа, борьба за развитие русской культуры против стремящихся ее всячески унизить иностранцев. Но его воодушевляет мысль о той пользе, которую науки должны принести русскому народу. Рассказывая своему учителю профессору Вольфу о жестоких нравах, царящих на его родине, он заключает: «Но я люблю свое грубое отечество, я знаю, в чем его нужда».

Противопоставляя нелепости и жестокости самодержавно-крепостнической действительности образ Ломоносова, писатель утверждает неодолимость прогресса, который пробивает дорогу вперед, несмотря ни на что, и приносит плоды научной мысли повсеместно и синхронно. Г. Шторм показывает эту одновременность движения науки, перечисляя ее достижения на Западе — в трудах Бернулли, Лейбница, Эйлера, Ньютона и в России — в трудах Ломоносова, который обогатил мировую науку, открыв закон сохранения вещества, исследовав природу атмосферного электричества, предвосхитив атомную гипотезу, объяснив явление теплоты вращательным движением частиц, обнаружив атмосферу на Венере, создав новую теорию о свете и учение о растворах.

Идея синхронности научных открытий воплощена Г. Штормом в мотиве созревающих и падающих яблок. Этот мотив как бы обрамляет его книгу, которая открывается эпиграфом из Гете: «Некоторые идеи созревают в определенные эпохи: так плоды падают одновременно в разных садах». А на последних ее страницах мы видим стареющего Ломоносова, который лежа в саду под яблоней размышляет о своей жизни, посвященной борьбе за отечественную науку. И новое яблоко падает в траву, одно из тех, которые падают в разных садах.

Оценивая книгу Г. Шторма, нельзя не признать, что хотя она и не раскрывает образ Ломоносова во всей его полноте и всесторонности, хотя стремлением отказаться от художественного вымысла обедняет ее, приводит порою к сухости, к замене интонаций живой речи интонацией документа, эта книга явилась чуть ли не первым художественно-историческим повествованием о гениальном русском просветителе и ученом, дающим объективное, социально правдивое воспроизведение его деятельности как борьбы за развитие русской науки и культуры. И главное: при всех своих недостатках и достоинствах эта книга является поиском новых форм художественного и в то же время научно точного воспроизведения исторических событий и лиц.

М. Козьмин

**Георгий Шторм**

**ТРУДЫ И ДНИ МИХАИЛА ЛОМОНОСОВА**

Некоторые идеи созревают в определенные эпохи:

так плоды падают одновременно в разных садах.

*Гёте*

ГЛАВА ПЕРВАЯ

**1**

Командирска с нами воля,

И их над нами власть.

Слушаться — солдатска доля,

Уж такая наша часть...

Солдатские ранцы хрустнули, ружья с медными шомполами взяты к ноге; полк, дружно топнув, врос в площадь. Эскадрон драгун, следовавший за кабинет-курьером, вступил на нее с другой стороны. У трактира уже стоял запыленный кабинет-курьерский возок и дремала старая, рыжая от грязи пушка.

— Куда вас, ребятушки, гонят?

— За Уфу, родимые, башкир воевать.

— А какой это будет город?

— Располагаем, что Кострома, а верно сказать не умеем!.. От площади лучами — пять ровных, в зелени, улиц. Крупные, плечистые люди — у каменных лавок. С Волги плывет пение рулевого. Виден осколок реки с опрокинутой пестрой половиной собора и размытой фольгою глав.

Гренадеры — в белых высоких шапках, в кафтанах с раскра­шенными обшлагами (за недостачею цветных сукон), серые от пыли, сваренные июльской жарой.

Дряхлый солдат — совсем пора бы на снос — снял шапку, потрепал по шее тощую драгунскую кобылку. Волосы у него пробиты прямым рядом; пустые, слезятся глаза.

— Извелись кони, что люди. Вон и вижу худо, и рука порублена, и всем из себя плох. Двадцать пять годов служу, добрый человек. Какая от меня служба!..

— Не из башкир ли едете?

— Оттуда.

— А каковы собою те люди?

— Да народ убогой. Вздумали енаралы город ставить при реке Ори, а башкирам утеснение вышло, теперь и сладу никакого нет...

Перекрывая говор на площади, где-то ударил воющий голос. ИЗ дома, где помещалось духовное управление, выскочил человек, судя по гусиному перу за ухом и облику — подьячий. Бумажный лоскуток, как пойманная птица, трепыхал в его руке.

На шум у трактира возникло начальство — курьер от статского советника Кириллова в столицу с докладом.

— Для чего кричишь? — становясь у крыльца и вскидывая головой, спросил курьер.

— Императрикс...

Человек, балдея, смотрел на начальство.

— Что ты врешь?

— Императрикс,— последним голосом пролепетал подьячий.

У начальства потное зеленое лицо и нос пяткой.

— Кто таков?

И уже из зеленого бурым стал кабинет-курьер.

— Старший писчик духовного управления.

— Для чего кричал? Говори толком!

— Императрикс, ваше благородие... Прошибка в высочайшем титле... Карау-у-ул! — снова завопил он.

Но тут, отстранив писчика, появилось новое лицо — ледащий белобрысый поп.

— Алексей Васильев я. На меня крикнуто было.

Поп совсем белый. Он уже конченый человек, лишен ноздрей, бит, сослан, четвертован.

— Ври! — говорит начальство.— Ври все!

— Была у меня знатная псальма, и я ж ее не таил, а певал в разных домех при компаниях...

— В разных домех при компаниях,— подтвердил писчик. — ...и давал многим людям псальму списывать...

— Давал списывать,— вторит эхо,— чернильная душа.

— ...да небрежением певчих сия у меня утратилась. А я, идучи сюда, дабы оную сыскать, не чаял себе такого горя и «караула» слышать. Начало же псальме было: «Да здравствует днесь императрикс Анна», что, сказывают, не по форме.

— Ваше благородие,— ввернул писчик,— вот, записано для памяти.— И всучил курьеру бившийся на ветру лоскуток.

— Говори, поп, где взял!

— Дьякон из Нерехты дал. Сам-то он добыл от свояка своего, дьякона села Большие Соли. А псальма та печати предана в Санкт-Питербурхе...

— Печати?! — заорал курьер.— Караул! Взять его!.. Ну, мы корни найдем... Еще в Тайной канцелярии не бывал? Об Андрее Ивановиче Ушакове не слыхивал? Он те не свой брат, кнуты у него сыромятные... Ну, служба, что стал?!

Драгун подтолкнул неживого попика. Писчик переступил с ноги на ногу.

— Не приказано ль будет нерехтинского дьякона задержать?

— Для чего?

— Для того, что он, будучи при сем приключении в канцелярии, воровским образом в окно ушел.

— Земля наша — и заяц наш! — Курьер отмахнулся.— Поймаем!

Он медленно подошел к возку, занес ногу и оступился. Сел в пыль, потом, к удивлению солдат, разлегся и лежа стал бить по земле кулаком, взметая белые облачка и покрикивая:

— Уж мы кор-р-рни... найдем!.. Найдем!.. Словно в пыли под возком были эти корни.

Так не сразу обнаружилось, что кабинет-курьер был пьян.

**2**

«Цель настоящего издания — удержать каждого честного человека от путешествия в Московское государство»,— так в 1735 году изливал яд на Россию автор клеветнических «Lettres Moscovites» 1

В то время в Европе стали плавить чугун на каменном угле. Англия с Францией обогнали Россию. Татищев писал черновик своей «Истории» башкирскою кровью, радел о медных заводах и переводил на уголь сосну и березу. Башкиры «пускали огни»: на заводы ползли их «несносные волшебные дымы». Каратели не унимались и доносили в столицу: «воров» искоренено столько-то, найдены признаки руд медных и серебряных, а также камни — яшма, мрамор, порфир.

Автор памфлета — граф Рокфор-Локателли — был арестован в Казани, «яко французский спион». В Москве его держали в скверной избе. Он пожаловался. Его перевели в лучшую и принесли в подарок от императрицы рубль. Впоследствии, высланный за границу, он дал с этого рубля сдачи. Кантемир, русский посланник в Лондоне, посылал донесения о нем в Петербург в течение трех лет.

В 1735 году свирепствовала экзекуция 2 для сбора подушных денег.

В 1735 году обнаружилось, что за семнадцать лет из числа всех обложенных податью умерло, взято в солдаты, сослано в каторгу и бежало свыше двух миллионов «мужеска пола душ». Население всей России составляло 14 миллионов. Деньги же собирались так, как будто не убыло ни одного человека. От этого, от хлебного недорода и *за другими припадками,* недоимщики на многих землях *показывали пустоту.*

Тогда опускал в карман даримые Анной города и наживался на коровьем масле Бирон. Оно скупалось для него по всей Курляндии. Говорили — одна из комнат в его митавском дворце намощена положенными на ребро рублевиками. «Нет у нас никакого доброго порядку,— стонали в Петербурге,— овладели всем иноземцы, Бирон всем овладал».

Тут ошибались. Не Бирон всем «овладал», а помещик в юбке, севший на троне, сделал бироновщину в угоду любимцу. Ему-то от ее императорского величества «никуда и отлучиться было невозможно». Разве для беседы с английским послом Финчем (Россия продавалась не немцам, а англичанам). «Власть их (иноземцев),— писал Локателли,— основана только на робости и рабстве, в которое погружен весь народ».

Аннин Зимний дом и конская школа были плацдармом. В манеже ежедневно объезжалась Россия. Делал на корде круг Бирон, и власть по стране расходилась кругами. Было подмечено: герцог, говоря о людях, выражался, как лошадь; говоря о лошадях — как человек.

Власть расходилась кругами.

За спиной временщика обирали башкир. Воеводы свозили с окраин многие тысячи. Крестьян без указов прикрепляли к заводам; болтунов грозили пометать в домны. «Кандалы в Московии нипочем,— замечал Локателли,— чуть кто провинится, тотчас заковывают».

Дворянство кряхтело. При Петре оно служило без срока. Оно посадило Анну, и ему не стало легче служить.

В «де Сиянс Академии» не было ни одного русского. Ни в профессорах, ни в адъюнктах.

«Юношеству не дают хорошего воспитания,— язвил Локателли,— возможно ли вывести народ из варварства, в котором он находится столько веков?»

Кантемир успокаивал:

«По известиям из Парижа — Локателли в том городе за плута был, давно знаем».

Но обида росла.

Обида будет расти.

Памфлетист наконец появится в Лондоне, но преследовать его »а книгу окажется невозможным. «К наказанию его,— напишет посол, ибо время и нравы были грубыми,—- один остается способ: чтобы своевольным судом через тайно посланных гораздо побить, И, буде ваше величество тот способ апробовать изволите, то я оный и в действо произведу».

Так разменяется рубль и будет дана сдача со сдачи.

И задумаются господа кабинет-министры и господа Сенат...

1 «Lettres Moscovites» — «Московские письма» — злобный памфлет на Россию первой половины XVIII века, написанный итальянским авантюристом Франческо Локателли.

2 Экзекуция — здесь — размещение войск по домам в сельских местностях, как мера воздействия.

**3**

— Господа кабинет-министры и... кха-кха... господа Сенат!..

Седая лисица — Остерман — трясет востроносою мордочкой и, сутулясь и перхая, склоняется над столом. Вот острый локоть Головкина, вот манжета Черкасского, рядом с перстнями Корфа; строчат перья чиновников, и сжаты в замок две худые руки (Ушакова). Когда Остерман болен, он не смотрит в глаза.

О башкирских делах скрипит Остерман, о новом статского советника Кириллова донесении: «Башкиры — неоружейный народ и враждуют с киргизами. Никогда не следует допускать их к согласию, а напротив, надобно нарочно поднимать друг на друга и тем смирять...» За весьма разумное почитает он сие мнение господине Кириллова; в рассуждении ж, не излишне ли ставить заводы в башкирской земле, он, Остерман, полагает: заводы ставить по-прежнему, башкирцев смирять кайсаками, а кайсаков — башкирцами; ни «воров» же послать надежную персону, дав ей полную мочь и власть...

— Кто же может быть послан в сию экспедицию?..— вопрошает лисица.— Предлагаю Румянцева.

Все молчат.

— Весьма хорошо.

Румянцев может собираться в поход.

Тут встает Ушаков — начальник худшей из всех канцелярий. Совсем немецкий майор. Зобастый и бритый. Рапортует, раздвинув углы большого жесткого рта:

— Содержится в Москве под караулом города Костромы поп с товарищами по делу о некотором слове. Сказано на него: имел он некую псальму, в коей высочайший титул прописал непристойным образом. По тому делу учинен был розыск, однако ж покудова ни до чего не дознались. Только сказывал арестованный, что оная псальма напечатана при Академии де Сиянс.

— Господин барон,— обращается к Корфу Остерман и, вздрогнув, хватается за больную ногу,— не замедлите разыскать сочинителя.

«Главный командир» Академии склоняет пышную голову.

— Господин барон,— начинает скрипеть уже новый голос,— известно также Сенату, что затевают в Академии историю печатать, чем бумагу и кошт переводить будут напрасно...

— Того нельзя допускать,— перебивает Черкасского сухопарый Головкин,— дабы в иностранные государства какие известия не произвелись.

Сильно дует из окон.

Корф улыбается и слегка покачивает грузным телом. Кружевной его галстук треплется на сквозном ветру.

— Перед недавним временем,— говорит он приветливо,— писано от меня во Фрейберг о присылке к нам немцев, потребных для рудных дел. Но, как слышал я от приезжих, таковых людей во Фрейберге не находится. Рассудительно мне, что придется русских посылать за море для этой науки. Не скажут ли господа сенаторы, что и на это дело напрасно истрачивать кошт?

Остерман силится в точности повторить улыбку барона.

— Иоганн Альбрехт! История — это одно, а маркшейдеры — дело иное. Как там эти ваши московские бурши, едут сюда?

— Ученики Спасских школ вскорости вызваны быть имеют.

— Весьма хорошо...— И, морщась, говорит совсем уж устало: — У нас есть еще нынче дела?

Секретарь извлекает из папки бумагу.

— Пронской воеводской канцелярии в правительствующий Сенат донесение...

В зале темнеет. Солнце на стенах кажется скатанным в трубку. Сенаторы и министры слушают четкого, как артикул, секретаря:

*«Иуля 20 числа, волей божией, половина города выгорела дотла, а из оставшей половины ползут тараканы в поле, и видно, что быть и на эту половину гневу божию, и той половине города гореть, что и от старых людей примечено. Того ради правительствующему Сенату представляю: не повелено ль будет града жителям пожитки свои выбрать, а оставшую половину города зажечь, дабы не загорелся град не вовремя, и пожитки все бы не сгорели».*

И вдруг — сытый, круглый какой-то смех. Все смущены и сердиты. И только двое вольничают: Корф да ветер, шалящий на кабинетском столе.

— Беспорядится в Пронске изрядно,— ворчит Ушаков, ни на кого не глядя.

— Пиши, секретарь! — резко бросает Головкин.— «Половина города выгорела — велеть обывателям строиться...»

— «...строиться»,— шепчет писец и срыву относит от бумаги перо.

— «А впредь тебе, воеводе, не врать, другой половины города не зажигать, тараканам и старым людям не верить, а дожидаться воли божией».

Двое встают. Все еще смеется Корф. Его ловит за руку Остерман:

— Иоганн Альбрехт! Сочинителя псальмы вы разыщете?

— Oh, ja!

**4**

Если бы ласточки умели смеяться, они бы умерли со смеху, глядя на крышу Академии. Зеркалом финансовых затруднений, летописью просвещенного крохоборства была ее жалкая пестрота.

Крышу дворца клали не сразу. Сперва покрыли склон черепицей, ее не хватило; отыскали запас листового железа; и, наконец, к вышине развеерилась чешуею еловая дрань — гонт.

Ласточки не умеют смеяться. Они расстригают воздух, чиркают об него крыльями, и он загорается, пробитый солнцем у слуховых окошек, внизу становится серым — над площадью со складом дров и кузницей на берегу Невы.

Птицам видны: мазанковый караульный домик недалеко от речки Фонтанной и проезжая дорога, которую назовут Невскою проспективой два года спустя. Дорога обсажена рядами чахлых березок, почти не застроена и клином входит в лес и болото. На березках сушат белье, оно стреляет от ветра. Вдоль дороги — тропа, и ездоки сворачивают с главной аллеи: там взимают положенный сбор.

По реке плывут баржи. В оплетинах из жердей скользит черной глыбиной деревянный уголь. Машет крыльями мельница на крепостном валу. За кронверком — часовые... Бьют куранты... Поет иноземец шкипер. Слушает еще не одетая в гранит, но уже заматеревшая русская Голландия. И все это — Петербург, суровая тишина.

В худшей из всех канцелярий лежит дело о «некотором слове». Оно выросло с тех пор, как кабинетский курьер привез попа Алексея в Москву. Там спросили: «Где взял псальму?» — «От нерехтинского дьякона Ивана...» И пошло. Везут из Нерехты дьякона Ивана, сидит в тюрьме поп Алексей... «Где взял?» — «От Кузьмы из села Большие Соли». Везут Кузьму из села Большие Соли, сидит в тюрьме дьякон Иван, сидит поп Алексей... «Знаешь Ивана?» — «Как же, свояк мне, оба женаты на родных сестрах».— «Видел печатную песнь?» — «Видел...» Послали добывать печатную псальму.

Добыли. Читают. «Императрикс»!

В синодальной конторе были люди «с латынью». Они рассудили: латынь латынью, а дело делом. Бумаги отправили в Петербург, Ушакову, тот доложил Сенату, и Корфу поручили отыскивать корни. А корни были в Академии наук.

Они вышли из-под пера студента, принятого в Академию переводчиком и обязанного, по контракту, «пишучи как стихами, так и прозою, вычищать российский язык». Вот он сидит, вычищает.

Гладкое, круглое, как маятник, лицо — от плеча к плечу, в такт стопам. Веки красны, губы вовнутрь, и вмят в щеки нашлепистый нос. С виду — подьячий, псаломщик. Кафтан темно-песочного цвета застегнут во все брюхо медными пуговицами. Паричок насален, и скудная косица перетянута при самом затылке снурком. Оконный переплет част и ложится на пол и стены решетчатой тенью. В академической канцелярии осень коробит бумаги. Снуют копиисты. Спорят корректор и цензор — «господа газетиры» заняты чтением «Ведомостей».

Скудная косица дергается, и запавший рот зевает. — Готово, Василий Кириллович? — шепчет стоящий за стулом служитель.

— Какое там! Одна лишь ода, а описание фейерверка еще it не начато.

— Их благородие сильно бранятся.

— Пожалуй, брат, скажи господину советнику: переводчик-де над всем этим немало уж пролил пота...

— Господин Тредьяковский! — раздается в дверях резкий голос.— Академии нужен не пот ваш, а перевод описания.

Канцелярия встала. На пороге — сутулый презрительный Шумахер. Торчком — крупные серые уши, и румяное лицо — в пепельной сети морщин.

— Я в несносной печали,— говорит переводчик, и голос его вот-вот перейдет в пение.— Всему виной неискусное мое слово, ровно как и необыкший к красноречию язык.

О! Скромность — она должна быть всячески поощряема. И Шумахер улыбается.

— Вы напрасно себя так утруждаете. Нужно ли для точности перевода на всякий раз присутствие музы?

— О, конечно, нет,- поет Тредьяковский.— Да и для чего искать музы, когда господин советник стоит ста Аполлонов?

И он склоняет голову набок, словно стыдясь сказанных слов.

— Ah, mein Gott! — округляя ледяные глаза, восклицает советник.— Кончайте же, кончайте скорее! — И, крутнувшись на каблуках, уходит, коренастый и быстрый, всемогущий правитель Академии наук.

Канцелярия принимается за работу.

Кое-кто хихикает, кивая в сторону переводчика. Тредьяковский не слышит, уйдя в немецкие вирши. Ох уж эти Штелин и Юнкер! Всегда такое напишут, что и перевести невозможно... И он отирает вполне настоящий, честный литераторский пот.

За бумагами перешептываются копиисты:

— Профессоры Герман и Бильфингер за море отбывают.

— С чего это?

— С Шумахеровых обид. Этак вскорости и ученых людей не останется.

— Своих производить намереваются.

— Слыхал. Ученики из Москвы должны приехать.

— Да, почитай, одна мелкота...

Будто ветер врывается. В комнате снова Шумахер. Он, сутулясь, пробегает до стола Тредьяковского и взмахивает перед его носом хрустящей бумагой. Переводчик моргает. Бумага почти приставлена к его горлу, и кажется — голова переводчика сейчас отвалится, срезанная желтым краем листа.

— Благоволите подать его сиятельству представление, для чего употреблено вами слово «императрикс». Не медлите ни единой минуты. Сие потребно для отписки в Тайную канцелярию.

И Шумахер удаляется, оставив «псальму». Вот те и раз! Таким объявлением можно человека жизни лишить. По крайней мере в беспамятствие привесть. Шутка ли! Дело «по первым двум пунктам» — об оскорблении высочайшей I особы!.. Кто поможет?..

Он, забывшись, кричит:

— Кто?!

Канцелярия занята делом. Что-то уж слишком старательно все строчат и бормочут. Тредьяковский склоняется к копиисту:

— Ну, скажи, брат, знавал ли ты за мной что худое?.. Копииста как ветром сдуло: вскочил и понесся. Переводчик — к другому. Но уже опустело место: пересел за стол рядом этот другой.

Один актуариус ответил из милости:

— Я от вас ничего пустова не слыхивал.

И на этом сочувствие кончилось. Тредьяковский растерянно огляделся. «Что же это?.. Где я?..» И, потоптавшись на месте, вдруг громко:

— Извините меня, господа!..

Опустившись на стул и потеребив зубами перо, он написал строку, почернил и написал снова:

«...Слово сие, императрикс, есть самое подлинное латинское и значит точно во всей своей высокости: «императрица», в чем я ссылаюсь на всех тех, которые совершенную силу знают в латинском языке...»

Он смелеет, трус Тредьяковский.

«Употребил я сие слово для того, что мера стиха сего требовала...»

И вот уже (какова дерзость!) стихотворец грозит Ушакову: «...что через оное слово никакого нет урона в высочайшем титле, то не токмо латинский язык меня оправдывает, но сверх того еще и стихотворная наука».

Беззубая, ощерясь, поэтика дает Тайной канцелярии свой закон.

**5**

Человека томит жажда.

Не надо спрашивать, как его зовут.

Потому что слишком велика жажда и к человеку относится только отчасти, принадлежит его веку и его народу.

Жажда познать мир.

Все равно, родился он под пальмами или обступал его в детстве чудской ельник, пестовала его пустыня или поморская на студеном море ладья, брызнет осколками он или станет, как другой, младший его сверстник по духу, «зеркалом целой вселенной»,— в них течет единая умная кровь века, один и тот же испытующий зуд.

Если в нищей стране, поставленной яйцом Колумба в центр Европы, стоит стон от поборов и рекрутчины — «лихой болести» неуемного Петра,— если в такой стране уцелел особый мир со своими сходками, обычаями, угол, куда забился грамотный, бежавший от кнута и дыбы крестьянин,— эта страна и должна родить человека, в котором все ее чаяния — крепко скатанный ком.

...Все равно, сидит ли он в Лондоне и пишет о «земной тягости», а за спиной его зреет легенда о переспелом яблоке, упавшем в осеннем саду, или стоит у окна в старом петербургском ломе и смотрит, как, высоко вскидывая ногами, пробегает лошадь, мча обитые ярким трипом сани,— все равно...

Человек стоит у окна и смотрит на размытый сумерками город. В крепости бьют вечернюю зорю. Хлюпая мартовской грязью, пробегает лошадь, мча обитые ярким трипом сани, кургузая лошадь в оглоблях, с седелкой и без дуги.

Ему двадцать четыре года. Сермяжный, не по росту, кафтан распирают круглые сильные плечи. У него бабье лицо и пухлые губы. Он вытягивает их гусем.

Петербург оседает, размытый под зеленым неверным небом. Дом идет в темноту, как свая в болото. Но огня не зажигают,— с такими вещами здесь не торопятся. Скрипят половицы. В комнате рядом возятся академические ученики.

Эконом Фельтен дает приезжим стол и квартиру. Он берет за это вдвое против обычного, потому что он не простой человек, а родственник Шумахера и — главное — бывший мундкох 1 Петра...

В Петербург приехали в самый день Нового года.

Путешествовать можно с достатком и с разборчивостью или без достатка и с экономией. Путешествовать можно и впроголодь, с одною вяленой рыбой, провожая глазами каждый встречный трактир.

Из Москвы везли аттестат, выданный «на общее лицо». Ни разъехаться, ни разойтись с такою бумагой было невозможно. Всего было заказано двадцать человек, но таковых не нашлось. Еще восемь учеников,— стояло в отписке,— нет откуду выбрать».

Шаги.

Треск лучами расходится по полу.

Сторож вносит зажженные свечи.

Тот, у окна, не оборачиваясь, продолжает стоять, приложив лоб к стеклу.

Вот он видит себя уезжающим из Славяно-греко-латинской академии. Дымятся паром лошадки. Втиснулись в сани ученики, и убегает румяная с морозцу, сахарная от инея Москва.

Вот они — Спасские школы, что за Иконным рядом: каменный дом с косыми сводами келий, кирпичными полами и обитыми войлоком деревянными затворами печей.

Библиотека.

Из нее «разбирать по кельям книг» не велено, да и каждая из них словно говорит: я не та, которую тебе нужно прочесть.

Близость проезжающих и торгующих «похищает мысли» от риторики и грамматики, которые сушат и без того черствый- черствый хлеб.

Деревянная лопатка гуляет по ладоням семинаристов; колени их в чирьях от стояния на горохе; они умеют подолгу держать камень в вытянутой руке.

Премудрость невелика: в аналогии — уметь «разобрать между частями речи»; в риторике — «переводить вряд» Цицероновы эпистолы... Однако многих выгоняют за неспособностью. Но в регламенте есть и другое: «Буде окажется детина непобедимой злобы, хотя бы и остроумен был,— выслать из Академии, чтобы бешеному меча не дать».

Полтора года назад.

Статский советник Кириллов собирался в Башкирию. Для обращения «инородцев» потребовался поп. Тогда-то и сунулся по-медвежьи в мир самый «остроумный» в семинарии детина. Едва не кончилось худо. Но уже такая была удача. Медведь учуял опасность и залег...

Утром допрашивали. Сказал: «Отец у него города Холмогор поп Василий Дорофеев, а он от переписчиков написан действительного отца сын и в оклад не положон».

Под вечер бродил по Москве. Медлила, еще наступала на город осень. Откуда-то издалека навевался сладкий запах трав. Большие медные кресты блестели на воротах домов под двускатными кровлями. Водочный дух стоял на площади, у кабака «Под пушкой», казалось — шел от земли, усеянной кедровой лузгой. На Спасском мосту уже закрывались «библиотеки» — картинные и книжные лавки, и только еще сновали в народе *стрелки* — продавцы рукописей и книг вразнос. У одного из них он купил тетрадь, ходкий в то время товар,— описание шествия за море великой особы. Тетрадь была в осьмушку и написана намелко. Стрелок украдкой подсказал, что великая особа — Петр.

Он проводил до сумерек с тетрадью, полный смутным (на ощупь) ее содержанием, пока часовые в Кремле не затянули дозорной переклички: «Чуден город Киев!» — «Славен город Новгород!» — «Велик город Москва!..»

Едва вернулся в келью, вызвали к ректору и стали снова допрашивать. Он смекнул и признался: вовсе-де он не попович, а крестьянский сын, в Москву прибыл с позволения отца своего, о чем дан ему и пашпорт (который он утратил своим небрежением). А что сказался поповичем, то учинил с простоты своей... И пронесло. Спасла простота...

В Петербург приехали, и о них вскоре забыли. Лишь спустя два месяца солдат принес ордер — ученикам ходить на лекции в гимназию. Они ответили: «Не имеют у себя платья и для того никуда выйти не могут». Солдат ушел доложить.

Но вот двоим объявили, что они будут посланы за границу. Им отвели отдельную каморку и велели спешно изучать немецкий язык. Один сейчас стоит у окна, приложив лоб к стеклу, напрягшись, как лук, в тугом и жадном упоре. Другой... Опять скрипят половицы.

— Спишь, Ломоносов?

И мелкими шажками в каморку входит другой.

Свечи тянутся к нему желтыми зыбкими копьецами. Они не перестают виться и трещать, потому что он не стоит на месте, живоглазый, шустренький Виноградов, но сам вьется и жарко потрескивает, как налитая воском свеча.

— Высекли наших! Шишкарева высекли! — кричит он, потрясая в воздухе ручкой, на которой каждый палец словно живет отдельною хрупкою жизнью.— Шумахер высек! За бранные слова о немцах. Ах, свинья!..

Молчание. Виноградов стрекочет. Виноградов — юлой по каморке.

— Нынче в гимназии на перекличке... Одного нет. Кричат: «Он совсем не будет ходить! Ну, его, говорит, ходить не емши».— «Как не евши?» — «Да так. Похлебают дома все щи, а он придет — нечего...» Выкликают другого. «У них гать затопило, он и не перейдет».— «А сапоги? Ведь есть у него?» — «Да разве сапоги в будни дадут?..» Что, Михайло, каково ученье?.. Да ты слышишь меня, живая душа?!

За окном протяжно крикнул ночной сторож. Ломоносов обернулся, шагнул, и тень его шагнула косым великаньим шагом.

— Вскорости поедем отсюдова,— тихо сказал он.

— Поедем. Да во мне вот сырая погода с мятелицей.

— Что так?

— Шишкарева жаль, что и до слез доходит! — и Виноградов постучал кулачком в стену.— Уж таков я... Верно про меня говаривал ректор. Или не помнишь?

Ломоносов улыбнулся.

— «Весьма неудобоносим»?

— Так, Михайло. А сего не забыл? — И уже смеется, заиграл всем лицом Виноградов.— Похвальное мое слово. A?.. Reveren-dissime domine rector!..2.

Он стоит, вытянув руки по швам, опустив голову,— словесная овца и бессловесный раб.

— Ваши святые подвиги...— верещит он.

Ломоносов — за ректора; милостиво кивает, ждет.

— Ваши святые подвиги...— повторяет овца и начинает блеять.

И когда в третий раз то же самое, «ректор» вступает басом:

— А ваши какие?! Иди, корова, ешь сено! С вора вырос, а ничего не умеешь!..

И они хохочут, оба по-разному: у Виноградова мелко собран морщинками лобик, смех Ломоносова — волной, от живота.

— Вскорости поедем отсюдова,— перестав смеяться, говорит он снова и садится на узкую у стены койку.

Садится на койку напротив и коротышка.

— С достальными что будет? Почитай, определят всех в подьячие.

— Да, конечно, по прошлому году поступят. И тогда ведь удался один Крашенинников, а прочие все испортились от худого присмотру.

Виноградов с досадою сечет ручкою воздух и валится на спину, заведя глаза в потолок.

Копьеца свечей стоят ровно.

Сомкнулись обитые бумажными шпалерами стены. Лепное потолочное клеймо обведено темною каймой.

Ломоносов тянется к столу. Откладывает немецкий лексикон и берет тетрадь — запись хождения за море великой особы.

В который уж раз его пальцы листают эти страницы, силясь схватить, прощупать, что *там,* выдавить каплю меж строк.

На выходном листе:

«Журнал, како шествие было его величества государя Петра Великого».

Он откидывается на койке лицом к свету и читает, вытянув губы гусем:

«...Видел сердце человеческое, легкое, печень и как в почках родится камень... двое телес младенческих в спиритусах, от многих лет нетленны... Косточки маленькие, будто молоточки, которые в ушах *живут...»*

Виноградов вздрагивает во сне и машет рукою. Слышен легкий, со свистом храп.

«...В Амстердаме был в доме, где собраны золотые, серебряные и всякие руды... (Сие любопытно!) Показывали мужика совсем безрукова, который брил себе бороду, в стену бросал шпагу и писал ногою...» (И страница листается. Экой вздор!)

«...Видел слона, который имеет симпатию с собакой... кита в пять саженей, который еще не родился и выпорот из брюха... (А коли еще не родился, то и для чего писать? Да и по пяти сажен детеныши не бывают.) Видел маленьких рыбок, кои корабль останавливают, прилипая во множестве ко дну...»

«...Был в обществе ученых людей и беседовал о разных вещах, до наук принадлежащих... Ужинал в таком доме, где ставили на стол и пить подносили пригожие девки, у них вся грудь открыта, руки перевязаны флером, а ноги лентами...»

Бабье лицо улыбается. Глаза закрыты.

Ломоносов спит.

Корабль остановился от множества рыбок, прилипших ко дну... прилипших ко дну...

*1 Мундкох — придворный повар.*

*2 Достопочтеннейший господин ректор! (лат.)*

**ГЛАВА ВТОРАЯ**

**1**

Весна занялась дружная. Погнала к промыслам сельдь несосветимыми *рунами,* зашумела россыпью волн у мурманского берега, накрыла север легкой голубой кисеей.

Чем выше чайки стремят полет, тем большего разлива рек здесь ожидают. Чайки над Архангельским городом были высоки, высоко подняли воду. По ней спускались барки с хлебом, скотом, пенькой и рогожей; струили горечь плоты смолокуров; бочки на плотах шли до половины в воде, чтобы смола не таяла от солнечного зноя. Над вздутой Двиной сколачивались два длинных моста дли разгрузки,— они выходили из реки и тянулись до Гостиного двора.

Порт — в низине, обнесенной больверком — бревенчатым кремлем, которого с реки почти не видно. Капитан Ченслер — первый европеец, нашедший сюда дорогу. Товарищи его вмерзли во льды Лапландии. Лопари нашли их и донесли Грозному:

«Товару на кораблях много, а люди все мертвы».

Вмерзшие в русский лед с годами проросли, обернувшись английской торговой компанией. Сжатая воротами пенька поплыла отсюда со строевым лесом и льняным семенем, вывозимым только для битья масла: корабли приходили за границу в августе, когда сеять было уже поздно, а лен делался негодным к посеву новой весны.

В Англии казнили Карла Стюарта. Алексей Михайлович велел сказать послам Кромвеля: «Когда они своему королю дерзнули голову отсечь, то с ними никакого сообщения иметь не можно». Потом Петр приказал все грузы возить к Петербургу и не пропускать из Архангельска товаров за море. Теперь, спустя семнадцать лет, порт силился ожить.

В Гостином дворе, сложенном из тесаного камня, в правом его крыле, живут иноземцы. Это «ветряные гости», приносимые ветром верной удачи: здешние люди на *своей* земле продают все по *чужим* ценам, установленным заморскою биржею, потому что по робости, лени и словно из учтивости сами не вывозят ничего.

От Гостиного до реки раскиданы бревна; они лежат с осени до весны, затрудняя проезд. Ближе к воде — две кирхи, и рядом — изба с крышей, обложенной дерном и накрытой рогатками. Это — содержимый норвежцем Варремом кабак.

Стены избы изнутри обшиты тоненькими дощечками. Ветер рвет в окнах мутные рыбьи пузыри. Хозяин подает гостю пиво. Иностранцы обычно пьют простое хлебное вино (хорошо и цены умеренной); для туземцев у Варрема припасены бесфактурные напитки: французская водка и норвежский ром.

Они сидят за столом — беловолосый, пухлый хозяин и долговязый, в веснушках, обрусевший лесопромышленник Вильям Гомм.

Кабатчик поднимает пивной *крюс* — резную деревянную кружку — и надавливает пальцем на язычок крышки. Гомм и Варрем смотрят друг другу в глаза и пьют.

Англичанин вытягивает ноги в пестрых чулках, откидывается к стене и говорит:

— Отменно идут дела, Варрем, лучше не может быть.

— Есть ланфут?1.

— Первейший... Славная страна: русский лес — русские деньги — русское спасибо...

— Пенька совсем даровая. Возили б и пеньку.

— Галиотов не хватит. Да с меня и этого довольно.

— А не приметно вам,— говорит Варрем, допивая пиво,— в сколь тесном содружестве у этих людей расточительность и бедность?

Гомм качает головой. Шляпа его съезжает, открывая рыжие мягкие пряди.

— Нет, не примечал.

— А бой оленей в ижемском лесу?

— Близ моих промыслов? Ни разу не приходилось видеть.

— Скверное зрелище.

— Возможно. Зимой непременно съезжу. Нет, что говорить — славная страна!..

Разговор по-английски. Оба отлично знают и по-русски, особенно Гомм, умеющий ладить и с лесорубами и с ловцами, для которых всякое к месту слово — что к обеду соль.

Они сидят молча. Гомм слышит за своей спиной злой сдержанный кашель. Он оборачивается, видит крепкий, дубленый затылок и склоненную над столом голову местного купца-торгована. Англичанин кивает Варрему. Тот встает и наливает третью кружку — ромом. Гомм подносит купцу и ставит на стол.

Склоненная голова встречает острым, ненавидящим взглядом. Лицо брусвенеет. Глаза глубоко запали от злобы. Черная, пропущенная в кулак борода в густом, крепком серебре. Купец внезапно ухватывает стол за ножку и, продолжая сидеть, поднимает его вместе с кружкой, толкая Гомма:

— Пей ты наперед!

Англичанин отстраняет кружку, ром из нее плещется, бесфактурная влага течет по рябой от веснушек руке, по жилистым пальцам. Он говорит, морщась и чуть отступая:

— Ты что?

Стол опускается.

— А то, что и мне в *жом пришло! 2*— хрипит купец.— Или речи твоей не знаю?.. Для чего похваляешься? Покупал-де даром, платил русским золотом, да еще спасибо слышал... А от кого слышал? От сенатских подьячих, не от меня!..

Варрем пытается встать между ними.

— Полно вам!

— Отойди, кабацкое семя, неумытая душа!

Гомм смотрит на чернобородого туманными синими глазами. Лицо его обвисает складками, делается мертвым. Говорит сухо:

— Плавай сам за море, вози товар, если умеешь.

— И поплыву. И стану возить. Свою цену назначу.— И купец с досадою машет рукою.— Э! Сказано — англичанин, так что уж оно тут хорошего?

Тогда Гомм, круто повернувшись, вскидывает головой и выходит из избы.

*1.Ланфут — экспортная сосновая плаха, шла на приготовление драни (арханг.).*

*2 В тесноту, в затруднение.*

**2**

— Путем-дорогою здравствуйте! — кричат едущие с промысла ловцы.

И со встречной ладьи отвечают:

— Здорово ваше здоровье на все четыре ветра!

Ловцы пристают к берегу, заваленному ветлужской рогожей, бунтами еще не спрессованной пеньки, усеянному тусклым рыбьим клёском. По Двине — мелким щебнем битое — солнце. Ветер то сорвется, состругивая с реки белокурчавую стружку, и закачает плоскодонные шняки, то, похлопотав, умрет в парусах.

Уже снаряжают «в Норвегу» два галиота с *сыпью* — зерновым грузом. Им плотно набиваются суда. Женщины целой артелью утаптывают сыпь, сперва ступнями ног, потом коленями. Это называется *тромпать.*

Ловцов окружают покрутчики, ожидающие найма на лесные и рыбные промысла.

— Послал бог улову? — говорят они.

— Семужку взяли,— отвечает староста,— да ведь барышная рыба, сколько ни привези — все мало.

— А в какой ветер шли?

— Крутой пал. Шелонник. Страшонная пыль в море, вода словно мылом налита.

Они рассыпаются по берегу, по бревнам на солнопеке, ловцы и покрутчики, в неторопливой беседе о делах в море и на берегу. Ждать недолго. Сейчас придут торгованы, повезут свежую семгу на рынок и одним мигом зашибут вдвое, два рубля против одного.

Идет почтовый баркас. Крестьянки в ярких кубовых сарафанах гребут не в лад и смотрят на берег.

— Сарафанная почта! — кричат им.— Весла, весла побереги!..

С галиота несется высокий, режущий вой. Видно: остановилась погрузка, и работницы тесно обступили кого-то. Люди замерли, обернувшись на крик. К ним бегом лупит по берегу мальчишка-зуек и, подбежав, часто дышит, смотря вытаращенными глазами. |

— Эй, что там?

— Тромпала одна... на сносях... и дошло ей — так на зерне и родила...

— Вишь ты! — говорят покрутчики.— То у нас уже не впервой. Ерша против шерсти родишь на такой работе.

— Иду-у-ут...— протяжно кричит ловец, стоящий у реки. Люди поднимаются с бревен, снимают шапки и с деловитыми лицами поджидают. Вильям Гомм, хозяин, или «брюхан», как называют его поморы, выходит из-за угла. За ним приказчик с непочатым орлёным штофом.

— Здоровы ночевали! — говорит промышленник.

— Челом здорово! — отвечают люди.

На берегу происходит заручное действо, важная, степенная игра.

— Забыл чарку захватить,— начинает Гомм,— да и закусить не взял.

— Горячего нет, а рыбничек найдется. Атаман, дай рукавицу, поднеси его степенству!

— Я не хочу,— отказывается «гость»,— я принес водку вас попотчевать.

— Нам без тебя пить нельзя. Без хозяина какое питье? Без хозяина питья не бывает.

«Брюхан» пригубливает из рукавицы. Приказчик доливает и подносит атаману.

— Будь здоров! — говорит староста и пьет. Действо кончилось.

Начался торг на рыбу и на живую силу для промыслов, менее учтивый, часами длящийся иногда *пдкрут.*

Наконец каждому дан заручной, запивной рубль и люди разбились: «ходившие по вере» — раскольники — вернулись сгружать оставленный улов, «мирские» сели допивать остатки хозяйского штофа.

Солнце стало за полдень. Ветер улегся, и Двина шла в нетронутом блеске. «Брюхан» уже бил по рукам с корабельщиками — поставщиками леса. «А тес будет самый добрый, не гнилой, не щелеватый и не перекосый»,— долетали издали слова.

Прямой, с запавшими щеками старик подошел к покрутчикам. Он в однорядке и нагруднике с красным стоячим клееным воротом — петровской образцовой одежде для «раскольников и бородачей».

— Зелье пьете? — говорит он.— Штоф-то у вас с орлом двоеглавым. А того не знаете, что у едина дьявола две головы?

— Не вино вини,— отвечают,— вини пьянство. А мы полегоньку.

— Нынче и попы пьют,— ворчит дед,— и *табак* курят, а в церковь придут — говорят о собаках... Все, все от Петра пошло...Нас-то как мучил! Во мхи зыбучие загонял... И сына своего казнил…

— А может, вера ваша неправая?

Старик будто не слышит, гладит бороду и говорит, улыбаясь:

— Ишь, вода *задумалась...* Ветер укладывается, почитай, надолго...

И вдруг, обернувшись, всклекотывает по-птичьи:

— Котора вера гонима, та и права!..

**КОСТРЫ НА ТЕМЗЕ**

Колесование, тянутие клещами и рвание четырьмя лошадьми

у англичан неизвестны.

*Де ля Порт*

**1**

«Если Америка осмелится изготовить хотя бы чулок или гвоздь к лошадиной подкове, я заставлю ее испытать всю тяжесть нашего могущества»,— сказал английский государственный муж Вильям Питт, впоследствии лорд Чатам.

«Если Россия осмелится вывезти...» — мог бы он добавить.

Россия осмелилась. Она нагрузила два корабля пенькой, развернув паруса, полные ветра и юной буржуазной спеси. Корабли снарядил купец-архангелогородец с дубленым затылком и бородою в густом, крепком серебре. Это была Россия первой гильдии, или *статьи,* как говорили в то время.

Лондон имеет вид полумесяца и лежит на левом и полуночном берегу Темзы. По крайней мере так его описывали двести лет назад.

Путешественников особенно поражали мосты, сделанные так, что реки с них не было видно из-за высоких стен, возведенных вместо перил. «Такое устройство,— уверяли современные описатели,— по той причине, чтобы англичане, весьма склонные к самоубийству, не имели способности тонуть».

Но в каменных стенах были проделаны амбразуры. Два человека, идя по мосту серым, гнилостным утром, взглянули на реку, затем друг на друга и, не сказав ни слова, пустились бежать.

Они увидели пришвартовавшийся корабль, груженый, с полоскавшимся по ветру русским флагом, и поспешили с вестью к «Обществу барышников для открытия новых земель».

Это было неслыханно. Финч, их посол, недаром сидел в Петербурге. Он купил у Бирона право на ввоз английских сукон и теперь подбирался к персидскому шелку. Вывоз по ценам Лондонской биржи и перспектива столь же удачного ввоза! Россия уже снилась англичанам колонией, и вдруг — какой-то корабль!

Обыватели пробежались напрасно. Уже стало известно о приходе судна, и группа членов «Общества барышников», имевшего исключительное право на торговлю с Архангельском, волновалась у древних ворот Сити, в конце улицы Флит.

Купцы не приближались к реке и наблюдали издали, восклицая:

— Возможно ли, что все это происходит в Лондоне?

Толпа ремесленников — красильщиков, кожевников и седельщиков — стояла у самой воды.

— Смотрите!.. Второй!..— пронесся среди «барышников» крик, и в то же мгновение показался галиот со вспученными, грязно-серыми, латаными парусами. Он поравнялся с первым и стал рядом, по-братски прильнув к его осмоленному, мокрому борту. Кипы зеленоватого волокна, перетянутые канатами, заваливали палубу.

Стало ясно: русские привезли пеньку.

Крепкий чернобородый купец, гремя яловочными сапогами, сбежал по сходням.

— Где тут биржа? — прокричал он, коверкая английские слова.

На берегу притворились — не поняли: кого ему надо! Купец покраснел, забрал в кулак бороду и, подавшись головою вперед, зашагал с яростью, словно прыгал со льдины на льдину.

Между тем слово «биржа» долетело до угла улицы Флит. Члены купеческого общества ответили коротко: «Не покупаем!»

Россия пронеслась мимо, оставляя густой колониальный запах кожи, пеньки и смолы.

Мальчишки бежали за нею, пытаясь подражать ее походке.

Он разыскал биржу, мрачное здание, и вывесил там свой прейскурант:

«Пенька чистосортная. Санктпетербургский гальфсрейн. За 1 шифсфунт — 15 голландских гульденов».

Потом он побывал в соборе св. Павла — в галерее шепота, где невообразимый шум подняли его сапоги; смотрел кулачный и петушиный бои и обошел все кофейные дома и таверны порта.

Он вернулся на судно вечером и крепко уснул. Утром спустил людей на берег и стал ждать. Вот придут с купцами браковщики, начнут мять и растирать волокна, размечут по полу пеньку... Вернулись люди. Кончился день. Купец ухмылялся, ждал. Певчие колокола на башне отбивали время.

Он ухмылялся.

Проходили дни.

Неделя. Две. Три.

Когда стукнул месяц, он смазал сапоги салом и пошел в парламент.

Вестминстерское аббатство дохнуло на него величием и тишиной, опутало каменным кружевом, росписью оконных стекол, тяжелой бронзой канделябров. Его пропустили. В палате от цветных витражей стоял полумрак; в нем исчезал резной свод, опанеленный темным ирландским деревом. Он видит залу, где задавались пиры королям и где однажды пришлось кормить шесть тысяч нищих. Видит, как, отягченный париком, появляется лорд-канцлер и плывет к какому-то мешку с шерстью, ибо такое обычаем отведено ему место, а по обитым огненным штофом ступеням сходят пэры в красных епанчах — по два в ряд, по два в ряд...

Пэры смотрят на иноземца — на бородатое чучело в русском платье, не снявшее даже шапки. Бородач, путаясь в словах, излагает просьбу. Лорд-канцлер выслушивает и говорит:

— То, о чем достопочтенный гость просит, полагаю, не запрещается английским законом. Но чтобы нам не допустить никакой ошибки, пусть стряпчие узнают об этом из судебных книг.

Парламент переходит к делам.

Купец садится. Он слышит шелест страниц под пальцами, ищущими статью закона, и слова начатой речи:

— Впредь не должно палить из пушек на море ни в которой части света без позволения Великобритании. Пусть слова эти колки для всей Европы, пусть утверждают, что мы хотим захватить всю морскую власть...

На Темзе дремлют русские галиоты.

Люди томятся бездельем, собрались на корме судна.

— Вот горе! — восклицают они.— На льдине в относ попасть — и то веселее.

— Да *наш-то,* поди, такую высь запросил — никто и покупать не хочет.

— Не в цене дело. Обида их взяла, вот и стакнулись.

— Крутой народ. Слова не говоря, зажмут, ровно клещами. Хозяин — как с дыбы снят, совсем неживой...

Галиотчики смотрят на хрупкий громозд Вестминстера, на серую реку, над которой — слоями — сквозные клинья тумана.

— Экую глыбину отвалили, а камень, видать, худой, в щельях. И речка у них скудно течет, едва не гнилая.

— Да уж, не Бело море, не Ладожско, не Двина.

— Ладожско никогда тишиной, а все ветрами живет,— задумчиво произносит один.— Государь Петр его кнутом бил... Ехал он на ладье, вышел на берег, кружит его, укачало море. Он и говорит: «Ай же ты, земля, не колыбайся, не смотри на глупо на Ладожско озеро!» И побил озеро кнутом.

— А я вот слыхивал,— подхватывает другой,— будто ходил Петр Великой по Москве и встретился ему вор. Государь и спрашивает: «Ты что за человек?» А он говорит: «Я-де вор. А ты кто?» Государь ему: «Я-де такой же вор, как и ты». И побратались они. Вор назвался большим братом, а государь — меньшим. И стал государь звать вора красть денежную казну. И тут вор ударил его в рожу и сказал: «Для чего ты государеву казну красть подзываешь? Лучше пойдем боярина покрадем». Ну и пошли они, вместе и боярина покрали. А пожитки государь все отдал вору...

— Замысловато сказываешь,— перебил первый.— Может, и врешь все. А вот это верно: не повесься у нас на селе девка — не бывать бы над нами Петру.

— Что так?

— Да был у нас в селе Кирвине бедный дворянин Нарышкин. А у него дочь Наталья. И случись такое дело: высек дворянин сенную девку, она и удавилась, уж очень ей скушно стало — не снесла. Собрался народ, и Наталья тут же стоит и плачет. И как раз проезжал селом боярин Матвеев. Дворянская дочь ему приглянулась, в слезах-то, он и взял ее на воспитание. А в Москве за царя выдал, она и родила Петра.

— Не будь его, и мы бы тут не томились. Кто море закрыл, торг у Архангельска кто кончил? Обедняли торговые люди, англичане и рады, теперь и цены хорошей нам не дают.

Так они коротают время, играя в кости, складывая и рассказывая друг другу сказки, пока не замечают быстро спускающегося к реке купца.

Он не поднимается на судно и, стоя у причала, кричит:

— Отгружа-а-ай!

Лицо его пышет, красное как медь, непонятно — от торжества или злобы.

Галиотчики принимаются за дело. Работа спорится. Тяжелые кипы поднимаются из трюма, скатываются с палубы, растут на берегу. Вечером приходит человек, член «Общества барышников», и говорит:

— Не угодно ли взять по дешевой цене колониальный товар? Купец отвечает:

— Пустое! Убытки невелики. Вам ли это не знать? В России пенька дешевле английского балласта...

Люди чуют недоброе. Для чего-то из кип велено сложить два холма, а у воды собралась толпа, осыпающая русских насмешками, ждущая какой-то потехи.

Стемнело. Купец махнул рукой и сказал:

— Зажигай!

Никто не промолвил слова. Миг — и санктпетербургский гальфсрейн запылал. Холм чистосортной пеньки горел отлично при веселых криках толпы, широко и жирно дымя. Издали многим казалось — в огне полощет всю пристань.

**2**

Кережи, запряженные оленями, свернули с обледенелой дороги и валко шли в снегу, как лодки в воде. Кругом одобрительно шумела хвоя. Кережа с Вильямом Гоммом неслась по *пушнине* — по рыхлому, еще неокрепшему снегу. Близилась Ижма — место ежегодного убоя оленей. Гомм торопился взглянуть на необычное зрелище и заодно прикупить оленины на промысла.

В полдень они достигли стойбища. На речном льду был разбит чум, и десятка два русских охотников, образовав полукруг, прилаживали к рогаткам длинные ружья. Освещенный солнцем, посередине стоял шаман — *тадибей.* Он кричал:

— Придите, придите, духи сильные! Если вы ко мне не придете, я к вам приду! — И ударял костяною рукой в бубен.

Это был жалкий обычай. Каждой зимой самоеды пригоняли из тундры оленей, которые более уже никогда туда не возвращались: все они должны были быть перебиты, потому что в ижемских лесах не было корму, а оленей никто не мог да и не хотел покупать.

Обоз остановился, и люди, отстегнув придерживавшие их ремни, вышли из саней. У чума залились лайки. Грязные ребятишки высыпали навстречу. Человек с раскольничьей бородой раскладывал на льду костер и приговаривал: «Царь-огонь, достанься не табаку курить — кашу варить!» Англичанин спросил, как отыскать старшину.

Найти его оказалось легко по цветной выбойке малицы и по густой, торчавшей из-под шапки седине, ничем не отличавшейся от седины неблюя1., которым был оторочен воротник.

— Мясо куплю,— здороваясь, сказал Гомм и осторожно добавил: — Взял бы и оленей.

Старшина мотнул головой. Узкие его глазки защелкнулись.

— Мясо — можно, олени — нельзя.

Подошли охотники. Прибывшие с промышленником лесорубы стояли поодаль и усмехались.

— Куплю оленей,— повторил Гомм.— Всех возьму. Не надо их убивать.

Приземистый, скуластый ижемец взял его за плечо.

— То у нас обычай,— сказал он, двигая крутыми желваками.— Бедность нашу обидеть можешь. Олешки непродажные, вот и все.

Рябое лицо Гомма обвисло складками и слегка покраснело.

Он отошел к обозу.

— Ну что, ваше степенство? — встретили его лесорубы.— Зря только ездил. Толковали ведь тебе — народ обычайной, олешек не дадут.

Он не ответил и уселся на кереже, уйдя в свою круглую пыжиковую шубу и возя по льду хореем — шестом для управления оленями, тонким, с костяным кружком на конце.

Самоеды, гикая, погнали собак в серевшее на берегу мелколесье. Умолк тадибей и отковылял к чуму. Охотники заняли места, по-прежнему образовав полукруг.

Лай было замолк, но потом возобновился, становясь все яростней и приближаясь. Вскоре на береговом склоне показалось стадо. Оно спускалось на лед сплошной серою массой и, как живая река, волновалось. Более трехсот голов поворачивались то в одну, то в другую сторону, преследуемые резкими криками: «Ги-го!»

Стадо сошло на лед, его оттеснили далеко за чум и снова спустили лаек. Они отделили часть и нешибко погнали к рогаткам. Олени,ничуть не пугаясь людей, бежали прямо на них.

Тогда шатнули берег два тупых горячих удара. Бывший впереди самец упал, дрожа серебристым, намокающим кровью боком. Остальные забродили по ледяному полю, вытягивая по ветру шерстистые морды. Рога их проплывали в дыму, как ветви в тумане. Слышался странный звук, производимый оленями. Это потрескивали суставы их ног.

Они спокойно давали себя убивать. Их оттаскивали в сторону (сдирали шкуры) и укладывали в легкие самоедские нарты.

Выстрелы не переставали греметь. На лед выгоняли все новых животных. Ижемцы с ближних погостов наблюдали за боем, дожидаясь, когда наступит дележ.

Вечером приезжих позвали в чум, и англичанин ел мясо первого застреленного в этот день оленя.

Он покинул стойбище при звездах. Оплетенный ремнями, лежа в санях, Гомм размышлял о стране, где ему было так легко заниматься промыслом. «Расточительность и бедность...» — вспо­мнились ему слова норвежца Варрема. «Но где кончается одна и начинается другая?.. Весьма странно и непонятно!» — подумал он.

*1 Неблюй — олений теленок до полугода.*

**3**

Непроходною чащей с четырьмя тысячами войска шел однажды Петр от студеного Поморья на Повенец. На переправе через речку Выг ему донесли: «Вверху по реке верст за сорок живут староверцы».— «Пускай живут»,— смирно ответил Петр и махнул рукой.

Взмах руки решил участь общины и целого края. Спустя год раскольники получили свободу богослужения по старопечатным книгам, а еще через два — самоуправление, и с них был сложен двойной подушный оклад.

Петровские льготы тем, кто не хотел «молиться за царя», явились недаром. Петр учуял людей одного толка с собою, встретил у них те же мысли, что занимали его самого.

Центром раскола была Выговская пустынь. Во главе ее стояли братья Семен и Андрей Денисовы, из рода князей Мышецких. Они оплели край сетью мастерских и школ для детей и взрослых, готовя иконописцев для своих часовен, искусных певцов и переписчиков книг. Их библиотеки ломились от богатейших собраний древних рукописей, располагая и запасом грамматик, риторик, космографии. Выговцы прокладывали дороги, ставили постоялые дворы, строили мосты. Они плавали до Новой Земли, на Грумант, доходили до Америки. Холмогорец Алексеев с одним из Денисовых первые после Дежнева (в XVII веке) прошли «Берингов» пролив1..

Старая Москва начетчиков поднялась с насиженных мест, перенесла на север свой трудовой суровый упор и книжное свое богатство. Силы переместились. Государство строилось с двух кон­цов: от Петербурга — на все стороны тяжко бившей дубиной — и от севера к Петербургу — волей расти и жить.

Получив льготы, раскольники захватили в свои руки все рыбное и хлебное дело, беломорские солеварни и верфи, горные заводы на Повенце. Они выросли. Прежние их книги устарели, не удовлетворяя новым потребностям в прикладных знаниях, их острой, настоятельной нужде.

Тогда два русских приказчика поехали в Амстердам и от имени царя заказали «Арифметику». Она была составлена типографщиком Копиевским и отпечатана в друкарне Яна Тессинга, оказалась никуда не годной, и ее пришлось выкинуть вон.

В эту пору в Москве возникла Навигацкая школа. Обложенные циркулями, градштоками и квадрантами, потели над картами и фехтовали в рапирном зале босоногие ученики. Англичане Фарварсон и рыцарь Грейс руководили школой. Наблюдать за ними был приставлен человек, обладавший мощным запасом математических знаний, настоящее имя которого нет возможности установить.

Предание говорит, что Петр, восхищенный умом этого человека, назвал его «магнитом» и велел ему писаться Магницким. Когда провалилась амстердамская «Арифметика», ему-то и было поручено выполнить заказ. Он выполнил.

Дав не учебник, а книгу для чтения и самообразования, энциклопедию, с предварением, что «всяк себе сам может учить». В ней шла речь о нумерации, или счислении, о числах ломаных или с долями, о торговле простой и заимодавной, о прогрессиях, радиксах, геометрии и «величестве» дней различных мест. В ней были: описания ветров с разделением их в горизонте по именам и румбам; указания, с помощью которых познаются расстояния и путь кораблеплавания; таблицы склонения магнита, широты солнечного восхождения и захождения, рефракции, или преломления лучей солнца, луны, звезд...

«Число есть мера вещей»,— утверждал он всем своим обширным трудом. Изучение математики приводит к познанию явлений природы... Здесь обнажались корни пифагореизма. Имел свое место и Аристотель... Магницкий — последний и выдающийся сторонник отжившей в России философии — стоял на рубеже, с лицом, обращенным в новый век...

Расцвет и благоденствие Поморья вскоре возбудили зависть. Посыпались доносы в Сенат и Синод. Были наряжены следственные комиссии. И раздалась риторика «Поморских ответов». Братья Денисовы выступили с обоснованием и защитой раскола, и мгновенно изменился облик целой страны.

Тогда по всему краю доставались из укладок ветхие тетради и старопечатные книги, строчились послания, наветы и укоризны, трескучей метелью разгорался спор.

Тогда-то и был ненадолго «уловлен в ересь» тринадцатилетний холмогорский отрок. Тогда-то и попалась ему пестрая от черной краски и киновари «Арифметика»... «От ней ты цвети, как крин благовонный»,— читал он и перечитывал на заглавном листе вирши. И он утвердился на этой неслучайной книге, бывшей ответом на запросы его соотечественников. Она стала подножием его знаний, и он назвал ее «вратами учености своей».

*1 Беринг, капитан русской службы, посланный искать, «где Азия сошлась с Америкой», обнаружил пролив в 1728 г.*

**4**

Круг деревень у подошвы холма тонул в густых зарослях чернолесья. Из них вырастал заплатанный пашнями, со всех сторон равномерный подъем.

Пашни лежали под снегом. Холм походил на сугроб, на опрокинутую кверху дном чашу. Бывало, что не знающий дороги огибал его и возвращался к месту, откуда вышел. Кур-остров был кругл, как земля, только поменьше. Девять верст, если сделать полный обход.

Беспорядочной кучей домов лежала Денисовка. Она упиралась в еловую рощу, к одному краю которой прилегала усадьба Ломоносовых. Затвердевший ясно-зеленым льдом, круглел пруд, сделанный Василием Дорофеевым из ключевой болотной котловины. В пруду он разводил рыбу, удерживая ее железной решеткой от выхода в реку.

Выше был ломоносовский дом. Летом отсюда, из-за ивняка, открывались Холмогоры со своими церквами, колено Быстрокурки, огибавшее взрытые оврагами Матигоры, живописный Наль-остров и далекие берега Двины.

Дом стоял на юру, выделялся положением и величиною. Рубленные в лапу углы, подслеповатые окна и крыша в два ската — все как у других, только добротнее и крупнее, и ни у кого нет таких затейливых *причелин* — отделки под крышей и вокруг оконных косяков.

Отлогий накат — *взвоз* — вел на поветь. В темном ее углу были заперты откармливаемые на убой бараны. По сторонам громоздились оленьи сани, сети, сбруя. В глухом чулане густо ревел бык.

Половина дома с горницей выступала сажени на две вперед; заднюю — занимали широкие сени. Из них коленчатая чистая лестница приводила в другие сени, с кладовыми для платья, сундуков и припасов. Оттуда был ход в кухню и на поветь.

В обнесенной лавками горнице стоял клуб синеватого дыма. Это синел и тянулся на свету пар от миски со щами на столе. Печь была жарко натоплена, и люди на лавках с задубевшими на ветру лицами оттаивали, ведя тихую беседу. Хозяин угощал их крупяными шанежками и квасом из медной братыни. Большая у него голова, с рассохатой бородой, ясными глазами и бугроватым носом; иссеченная клетчатыми морщинами шея. Позади него — тусклая божница, словно кусок сумрачной парчи с налипшей на нее землей.

По стенам висели пороховые рога, ружья и отражавшее огонь жировиков кривое мелкое зеркало. Старик Ломоносов ссыпал соль из высокой резной солоницы, придвинув к себе глиняный противень с треской.

— Эту осень норвецкой рыбы у нас и не было,— говорил он, вытирая жирную бороду ладонью.— Хорошо еще — палтосины не упустили.

— Не дай бог,— отвечал дюжий лохматый ловец, растиравший красные, не отходившие и в тепле руки.— Зато как задул сельдяной ветер, так едва сдвинули, полнехоньки были яруса.

— Василий Дорофеев! — тихо позвал русый молодой весельщик.— Пойдем с нами по весне на моржей к Канину носу. Там от зверя этого, слышь, пески стонут.

— Таку дивень толкуешь! — проворчал Ломоносов.— А в поле за меня ты станешь работать или кто?

— Извини, речь перебью,— вмешался ловец, сидевший рядом с хозяином.— Это он верно сказал: зверя там — сила, и моржа и медведя. У нас ведь на промыслах ноне что было! Ошкуй в амбар залез. Пришел ночью да и вытянул ведер пять жиру. Ну, убили его, а жир весь как есть вычерпали в бочку, ничего не пропало...

В горницу вошла работница, поправила в жировиках огонь и зажгла свечи по краям стола.

Стало светло от весело затрещавших фитилей. Легкий их чад был приятен и вместе с натекавшим печным теплом размерял, замедляя и без того медлительное, чинное застолье.

— Святки проходят,— сказал Ломоносов.— За подледный лов надо браться. Паевать-то будем по-прежнему?

— По-прежнему, Василий Дорофеев.

— Ну, коли не обидно, так тому и быть.

— Отчего же обидно? Который год, почитай, поровну делишься. Христофоровы с Дудиным богаче тебя, а от своей доли ничего не уступят. Уж мы и то думаем, не было б тебе самому убытку.

— А мне не копить...— отвечал Ломоносов и опустил голову.— Не для кого...

И все замолчали, сразу поняв — о чем он, смотря на него со скрытою жалостью и почтением. Ведь вот он, точно таков как говорятв округе: «Всегда ему в промысле счастье, а собою простосовестен и к сиротам податлив, только грамоте не учен...»

Никто не заметил, как вошел и стал на пороге, отряхая заиндевелый малахай, тощий сероглазый старик со втянутыми, землистыми щеками. Подбородок его был наколот редким волосом, свитым в пегий жгутик, но старик взбивал бороденку ладонью плавным, моющим жестом от горла, словно была она во какая большая и доставляла ему много хлопот.

— Стол да скатерть,— сказал он, здороваясь с хозяином, ловцами и улыбаясь.— Завсегда тут у вас стол да скатерть, никак и с делом-то не подойдешь.

— Садись, Федор! — проговорил Ломоносов.— Давно ли приехал?

— Ноне лишь... С гостинцами я. А Марья Васильевна где ж?

— Дочь в город взяли на святки.

Гость сел, расстегивая и заботливо подбирая под себя зипун.

— Словно Баженин в гостях! — сказал он, кивая на таявшие быстро свечи.— Свету-то сколько! (Так обычно вспоминали в этом крае строителя Вавчужской верфи, взысканного милостями Петра.)

Сосед Ломоносова, Пятухин, ежегодно ездил в Москву для своих торговых надобностей. Всякий раз по приезде приходил к Василию Дорофееву и будто невзначай заводил речь о самом для него дорогом.

Так и теперь.

— В октябре месяце в Петербурхе Михайлу видел...— начал он, не глядя на Ломоносова, и, решив: чем быстрее, тем лучше, выложил: — Поехал твой сын за море, в немецкую землю, ума наживать.

— За море?..— повторил старик, темнея и весь поникая.

— Академия послала. В ученые люди произойти может.

— Это он-то, крестьянин?

— Не боги горшки-то обжигают, Василий Дорофеев, а те ж куростровцы.

— Так то — горшки, а он невесть до чего досягнуть хочет. Гости, успевшие уже не раз переглянуться и кашлянуть, стали прощаться и уходить.

Когда остались одни, Ломоносов спросил:

— Долг-то тебе хотя отдал?

— Задавал я ему более семи рублей, а при отъезде его получил все сполна. Видать, коштом их снабдевают.

— Ну, и то ладно...

Пятухин взбил пегую бороденку и посмотрел строгими глазами**.**

— Ты, Василий Дорофеев, не томись. Чего уж теперь таить? Сам ведь проглядел Михайлу... Кто мне говорил: мужик-де он крутой, своей части добьется, пусть его? А часть эта от твоей, может, и напрочь пошла.

— Напрочь, говоришь? — глухо переспросил Ломоносов.— Кто его знает...

— Да я-то давно знал. Еще как сговаривал ты за него в Коле у торгового человека дочь, а Михайло жениться не захотел да притворил себе болезнь, вот тогда уж он и показался.

И Пятухин поднялся, протянул хозяину сухую, легкую руку и стал напяливать потемневший от тепла малахай.

Василий Дорофеев проводил его до сеней и, вернувшись, зашагал по горнице, косо ставя грузные ноги в высоких стоптанных бахилах. В доме была тишина. Пели сверчки. На кухне укладывалась спать работница. Он шагал от печки к окну, трижды вдовец, брошенный сыном, никчемный державец готового поползти из-под рук хозяйства. Вспоминал кроткоглазую мать Михайлы и брюзгливую его мачеху. Обе переступили порог по-разному: одна вошла тихо, как в церковь; вторая — прокаркала обычный (от недоброхоток) заговор: «Перва, другая, третья — цыц! Мне одной дом...»

Ему стало жарко. Длинная посконная рубаха пристала к телу. Он сел на лавку, смотря сквозь стену вдаль, не мигая, совсем как сын, вытянув губы гусем.

Черносошний крестьянин, первый на Двине оснастивший по-европейски пузатую «Чайку», сметливый промышленник и хозяин, бродивший где-то по краю между православием и расколом,— разве не раздирался он надвое? Точно этого не видел Пятухин! И не потому ли снабжал Михаилу деньгами? Но разве он знал, Василий Дорофеев, что и сам, треща, тянулся куда-то... Достигнуть же, встав на лестнице рода, мог только сын...

На улице — хруст шагов. Поет под коваными полсапожками снежное крошево. Сильнее хрустит... Остановились... Горячатся и стихают девичьи голоса и вдруг дружно в морозную тишь ударяют:

Виноградье красно по чему спознать?

Что Васильев дом, Дорофеева?

У ево у двора все шелкова трава,

У ево у двора все серебряной тын...

Коляда!

А дай, боже, Василью Дорофееву

С высока терема дочерей выдавать.

А дай, боже, Василью Дорофееву

Со борзых коней сыновей женить...

— Подари, государь, колядовщиков! — прокричал чистый голосок, и все смолкло.

Он разбудил работницу, выслал с нею зерна и денег и опять опустился на лавку. Уже пели под другими окнами... Должно быть, всю ночь будут ходить, стоять на росстанях, с овсяными блинами, веселые, разогретые с песен под полною святочною луной.

«Со борзых коней сыновей женить...»

У него перехватило горло. Рука потянулась к братыне с квасом.

«Один он у меня был и оставил. Кинул все. Все довольство, что я для него кровавым потом нажил!..»

Губы, едва забрав влаги, оторвались, и братыня, гремя, летит на пол, наплескивая на стены и чистую печь квас.

В горнице чадно. Василий Дорофеев не видит, что давно уже надо поправить в плошках огонь.

— Полно! — говорит он, и все его тело наполняется спокойною, мудрою силой.— Скоро весна. Ударит красное попрямей лучом — нальется земля, словно сдобная шанежка. Положу в нее жито... Что же это?.. Да неужто я?..— шепчет он, заметив на полу измятую братыню.— А ведь и не приметил! Вот ведь стар стал, вот... Да и спать-то пора...

Он медленно поднялся, могучий и жалкий.

**ГЛАВА ТРЕТЬЯ**

**1**

— «Высокороднейший, ученейший господин доктор! Высокопочтеннейший господин сын!..»

Белобрысый бурш надувает щеки и обводит компанию осовелыми глазками. Светлые его ресницы склеиваются, и письмо выпархивает из ослабевших пальцев. Депозитор — длиннорукий, с сумрачными глазами малый — тот, которому вверена студенческая община, тянется через стол и колет бурша рапирой. Кнейпа1. хором кричит:

— Читай!..

— «Высокороднейший, ученейший господин доктор!.. Высокопочтеннейший господин сын!.. Неужели ты, проклятая шампанская рожа, считаешь деньги мои за сор? Если ты в бытность твою в Марбурге осмелишься еще раз так пображничать, я тебе сверну голову, как курице... Впрочем, с достодолжным высокопочитанием к моему ученейшему господину доктору и сыну пребуду покорнейшим слугою и искренним отцом».

Ученейший господин доктор снимает губами пенистую шапку со своего шоппена2. и вытягивает разом пол-литра пива.

— И это все? — грозно спрашивает депозитор.

— И это все? — подхватывает кнейпа.— А деньги? На что мы теперь будем жить? Он тебе ничего не прислал?!

— Повесить его! — решает матерый бурш с лицом в свежих заплатках, хватаясь за медный завиток кронштейна, на котором плывет в сизом дыму фонарь.

— Вы не станете от этого лучше видеть,— бормочет белобрысый и сползает с табурета.

На него льют пиво, смешанное с пеплом, а депозитор больно бьет увесистой песочной колбасой.

Трудно разобрать, что это — шинок, музей или аудитория. Трехцветные значки и знамена украшают стены. Над посудною полкой скрещены рапиры с огромными чашками у рукоятей, висят железные рукавицы и вырезанные из цветной бумаги буквы V. С. F.— сокращенный девиз: «Vivat circulus fraternitatis!»3. Студенты то горланят, то затихают, то вдруг, словно уколотые булавками, начинают бросать за печь и в окна пустые шоппены. Двое сидят на полу, занятые тихим и важным делом: один ест стекло, другой пьет из башмака.

«Петербургские руссы» держатся бодро. Ломоносов, Виноградов и *прибавленный* к ним при отъезде Рейзер, все трое в темно-зеленых камзолах, обшитых золотым галунчиком, с шелковыми выпущенными на грудь бантами, в белых чулках и башмаках на франтовских красных каблуках.

Густав Рейзер, сын горного советника в Петербурге, почти ничего не пьет, неумело тянет из трубки и, кашляя, мотает узкой, сдавленной с боков головой на цыплячьей шее.

Сосед шипит ему в ухо:

— Теленок! Я презираю тебя, как стакан воды!

Но те двое, сменившие на щегольские камзолы сермяжные полукафтанья, обнаружили мотовскую душу, ухватки привычных гуляк,— им все нипочем. Словно узнав цену и предвидя в будущем этой ценой расквитаться, они не стеснялись, и уже кое-кто вежливо писал в Академию, что студенты хозяйничают безрассудно, что не мешало бы напомнить им быть бережливее, а то в случае отозвания их окажутся долги, которые могут замедлить отъезд.

Ломоносов сидит, расставив грузные ноги, держа на коленях загнутую с трех сторон шляпу. Рядом с ним Виноградов, более обычного беспокойный и юркий, качая ногою, дразнит депозиторского щенка.

За столом поют. Щенок подвывает. Когда нога касается его носа, он коротко, обиженно взвизгивает.

— Уйми его,— говорит Ломоносов,— он неверно лает.— И подхватывает со всеми: — «Wer von Marburg Kommt ohne Weib...» 4.— Его длинноватый, немного косо поставленный нос и верхняя губа покрыты капельками пота. Взгляд твердых, расширенных глаз ничуть не замутнен.

— Ломоносов! — медленно огибая стол, говорит худой, с тонкими, восковыми ноздрями студент в черном плаще теолога.— Ты весьма любопытен, не так ли?

— Да, обомшелая голова. Мне все нужно знать, все осмотреть.

— Что у тебя на коленях?

— Шляпа.

— Почему у нее такие поля, знаешь?

— Нет, не знаю. Но вижу, куда ты клонишь. Что ж, не намелешь вздора — пиво за мной.

Теолог садится верхом на бочку и, выстреливая из трубки тугими комочками дыма, рассказывает:

— Дождевой зонт был изобретен давно, но люди долго не могли к нему привыкнуть и носили островерхие шляпы с широкими полями. Тысячу лет назад ученый аббат Алкуин подарил зонтик зальцбургскому епископу Арнольду. Аббат писал при этом, что посылает шатер, чудный инструмент, который сохранит почтенную голову его преосвященства в постоянной сухости... Итальянцы до сего времени называют зонт дождевым платком. Вы, русские, прячетесь от дождя в татарский башлык. У нас в Германии с новобрачной при выходе из кирхи снимали головной убор, если начинался дождь... Прошло не более десяти лет, как употребление зонтика сделалось всеобщим.

— Понял! Понял! — говорит Ломоносов и делает вид, что собирается разодрать шляпу.

— Употребление зонтов становится всеобщим. Первый при этом жест поднимает поля спереди, сзади, сбоку. Возникает треуголка. Твое лицо более ничем не скрыто, и... я хорошо вижу — ты решил обмануть меня и не платить за рассказ.

— Halt! — задерживает Ломоносов одного из *фуксов* — новичков, обслуживающих кнейпу.— Еще пива!

Сам он уже прошел постыдную муштру, убыстрив срок и для Виноградова, пропахав себе и ему путь к званию полноправных буршей своими кулаками и крепким, круглым плечом.

Фукс возвращается с пивом. Его перенимает на дороге студент с заплатанным носом:

— Постой! Скажи, сколько блох входит в меру? (Фукс дрожит, прикрывая рукой полную кружку.)

— Этого мне не говорил мой учитель.

— Болван! Они не входят, а прыгают туда!..

— Как видишь,— произносит теолог, принимаясь за пиво,— и мне кое-что известно. А сколь многого мы еще не знаем! Это большая штука — мир!

Лицо Ломоносова становится серьезным.

— Испытание природы трудно,— говорит он,— однако полезно, свято.

— Я слышал, ты изучаешь Картезиуса?

— Картезиус ученых людей ободрил против Аристотеля, открыл дорогу к вольному философствованию и приращению наук.

Депозитор стучит по столу ладонью и прерывает их:

— Диспут на кнейпе?! Это еще что? Заплатишь штраф, Ломоносов!

— Ты, должно быть, никогда не бывал на диспутах.

— Gelehrter! 5.

(Это говорится с презрением.)

— Doctor!!.

(Это звучит так же.)

— Professor!!!

Ломоносов срывается с места. Бочонок с теологом опрокидывается. Студенты поспешно очищают место для поединка. Открывается дверь, и порог переступает университетский педель, тихий, длинноусый аргус с записной книжкой в руках.

— Feierabend!6 — говорит он приветливо.

Два часа пополуночи! Пора расходиться. «Feierabend!» — это сигнал.

Депозитор молча подает педелю шоппен, нанизывает на рапиру шляпы и шапочки буршей и выходит первым; за ним гуськом тянутся остальные, плохо держась на ногах.

Они выбираются из погребка и некоторое время стоят под светлеющим, быстро летящим ввысь небом, обрызганным бледной рассадою звезд, готовым раскинуть павлиний хвост рассвета. Потом кладут руки друг другу на плечи и шествуют, думая, что зыбкий их шаг качает улицу, всю в купах жадной сумрачной зелени, сбегающей по крутым уступам горы.

Они проходят мимо лавок, заваленных студенческими вещами: книгами, длинными трубками, игральными картами; выдирают из мостовых камни, орут, потешаясь эхом, и перевешивают вывески: сапожника делают медником, цирюльника — портным. На почтительном расстоянии следует педель. Его дело — не лезть в глаза, но все же поспевать в нужную минуту. Нужная минута — это большая драка, крупный скандал.

Бурши останавливаются. Их внимание привлекает стоящий на дороге фургон. Над входом на грубом холсте намалевана женская фигура с рыбьим хвостом. За стенами балагана всхрапывает заезжий штукмейстер.

Виноградов пытается схватить нарисованный хвост и говорит:

— Она недурна.

В домике, накрытом острым колпачком чешуйчатой кровли, растворяется окошко. Выглядывает рыжая волоокая девушка в плоеном чепчике, со спущенной на плечо косой. Лицо ее в бархатной черноте восходит круглым лунным ликом.

Ломоносов переводит взгляд с окна на холст, опять на окно и отвечает Виноградову, обращаясь к незнакомке:

— Сухопутные девы мне больше нравятся. Окно захлопывается. Бурши продолжают путь.

Wer von Marburg kommt ohne Weib,

Yon Iena mit gesundem Leib...7.

— Чей это дом? — спрашивает Ломоносов.

— Вдовы Цильх, если тебе так интересно. Дочь зовут Елизаветой Христиной.

— Сухопутные девы мне больше нравятся,— повторяет он, запоминая: — Елизавета... Христина... Цильх...

*1 Кнейпа — студенческая пивная, погребок (нем.).*

2 *Шоппен — пивная кружка (нем.).*

*3 «Да здравствует круг братства!» (лат.)*

4 «Кто из Марбурга приходит холостым...» *(нем.)* 156

5. Ученая голова, начетчик *(нем.).*

6 Канун праздника, шабаш *(нем.).*

7 Кто из Марбурга приходит холостым, Из Иены цел и невредим... *(нем.)*

**ПИЕТИСТЫ В ГАЛЛЕ**

Прощай, милый Рим! Смерди себе во веки веков!

*Лютер*

«Если в этих книгах содержится то же, что в Коране, то они лишние; если же иное, то они лгут». Слова эти, обычно приписываемые халифу Омару, как истребителю Александрийской библиотеки, характеризуют его довольно точно, но Александрийской библиотеки он никогда не сжигал.

Тем не менее смысл этого изречения делает его универсальным: становится возможным выразить им любую нетерпимость: костролюбивых ли испанцев, бледных от ненависти и вдохновенного ad majorem Dei gloriam 1, бродячих ли схоластов с их спорами о весе ханаанских виноградных гроздьев или пиетистов в Галле — сторонников чистейшего лютеранского духа, головы которых вовсе не повиты чалмой.

Городок был и так славен: университетом, солодом, красками, бьющими неподалеку соляными ключами. Королевская гвардия входила в ворота, гремя подковками на тупоносых штиблетах, и Галле становился еще славней.

Фридрих-Вильгельм — полный невежда и скряга, философ и мот, когда дело касалось его солдат. Мотовство, это — всерьез: он истратил на один лишь полк десять миллионов талеров. Философия же — попроще и заключалась в словах: «Nicht rasonieren!», Чтопо-русски означает: «Не рассуждать!»

Он завел открытый торг великанами.

Его вербовщики стояли на всех дорогах. Они хватали польских ксендзов, немецких студентов, рослых итальянских дворян. Россия любезно поставляла товар. Полковые списки времен Анны Иоанновны пестрили отметками: «Взят в великаны». Это началось с Петра, который во множестве посылал Фридриху солдат и получал в обмен инженеров. Их приводили в Петербург в кандалах...

Королевская гвардия входит в город, славный солодом, красками и университетом, и Галле становится еще славней.

Тупоносая обувь пылит, кидаемая оземь отрывистым шагом. Над обувью — колеблемый строй серых суконных гамаш. Над гамашами — белое, слепящее, как известь, сукно коротких штанов и камзолов, и все это венчается касками крепкой кожи, с железными цепочками, положенными крест-накрест. На лицах втиснутых в обмундировку людей — королевский девиз: «Не рассуждать!»

Девиз, отраженный, живет на лицах и личиках богословов, занявших университетские окна черными одеяниями, схваченными у шеи строгой белизной отложных воротничков. Тупицы отвернулись от замершего на возвышении лектора, к неудовольствию набитого студентами, кипящего страстями зала, променяв отличную плавную роль на великаний отрывистый марш.

Тяжелый парик делает крупную голову лектора громадной, разбиваясь тугими клубочками буколь по его приподнятым, немного сутулым плечам. Лоб взмывает над острой носовой хряще­виной, и вынесен вперед мысок подбородка, где теряются два ручейка, две бороздки, врезанные — от крыльев носа вниз — надменным очерком рта.

Его именем объявляют междоусобную войну университеты, разделяются аудитории, пылает ветхозаветная ярость в благочестивых, но не лишенных зависти сердцах.

Слава о нем, шествуя по Европе, ступила одною ногою и в Петербург и пустилась обратно, оставив в России лишь тень славы, или, вернее, наведя на славу ученого тень. Один заезжий хитрец, изобретавший вечное движение, объявил, что галльский профессор видел его машину. Продолжая опыты при дворе, он добился через некоторых лиц крупной награды. В дальнейшем часть денег передавалась им его *представителям,* а те снова и снова его представляли. Таким путем у нас было изобретено «вечное движение», и чужая слава обошлась стране в двенадцать тысяч рублей...

Проводив глазами последнюю солдатскую спину, люди отступают от окон, и тотчас их место занимает неяркая осенняя синева. Строгость почти монашеских одеяний придает высокому, как собор, залу вид судилища. Лектор насмешливо хмурится, косясь горячим глазом на толпу богословов, и готовится продолжать речь о морали. Он — последователь Лейбница и похититель сна пиетистов. Его называют «мировым мудрецом». Он говорит:

— Взгляните на маньчжур — стрелять из луков великие мастера, на китайцев — добрые писатели. Однако искусства эти не разнородны, ибо направлены оба к тому, чтобы попадать в цель...

Вздох восхищения среди студентов, записывающих речь. «Здесь господин советник улыбнулся»,— делает один из них трогательную заметку.

Господин советник развивает мысль Лейбница:

— Этот мир — лучший из миров — произошел случайно. Благо и нравственность существует и вне христианского мира... Не законы хранят человека, но человек хранит их, будучи честен и превосходен по натуре своей...

Ланге, проректор, человек без всяких признаков шеи, обводит глазами ряды богословов. По этому знаку рыжий студент Штрелер, ненавидящий лектора, восклицает:

— Кощунство!

Пиетисты Брейтгаупт и Франке кричат:

— Довольно! Мы требуем представления рукописи на рассмотрение богославского факультета! — И, стараясь как можно громче шуметь, увлекая единомышленников, они устремляются из створчатых дверей в галерею и оттуда — на университетский двор.

— С этим нужно покончить,— говорит Ланге, останавливаясь в теплой пятнистой тени под липой и отдуваясь.— Сегодня он выговорился вчистую. Это сущий фатализм. Нам несдобровать.

— Фатализм! Без сомнения! — вскипает серый от злости Брейтгаупт.— И к тому же кощунство! «Человек превосходен по натуре своей...» «Нравственность и вне христианского мира...» Вы слыхали когда-либо подобную ересь?!

— Что же нам предпринять? Жалобы не помогают. Королю до философии нет ни малейшего дела.

— Читать проповеди. Утверждать: одно лишь милосердие господне может спасти человека...

— Пустое! Студенты по-прежнему будут слушать его, а не нас. Крутая дробь барабана обрывает беседу. Снова идут великаны.

Близится россыпь крупнопечатного шага. Впереди — верхами — два плотных, тугих генерала, прибывших утром из Берлина на смотр.

Штрелер, рыжий студент, вспыхивает от поразившей его мысли:

— Я нашел выход!

— Что вы задумали?

Рыжий хватает проректора за руку и тащит к ограде.

— Мы победим всех «мировых мудрецов»!..

Ланге, пожимая плечами, семенит ножками, хватаясь за Франке, который вцепляется в рясу Брейтгаупта. Так, живой, упругой цепью вылетают они из ворот и бегут, догоняя четыре (два генеральских и два лошадиных) крупа.

Апеллировать к крупу бывает полезно.

Круповой логики не осилить никаким мудрецам.

*1* Для вящей славы божией — девиз Инквизиции *(лаг.).*

**2**

Он был скуп, Фридрих-Вильгельм,— пришивал старые пуговицы к новым мундирам.

Он был зверь, бесхитростный Фридрих, когда дело касалось его солдат.

Государство распадалось на гвардию, чиновников и покорных мещан, перенимавших от своего короля одну бережливость. Он был лаконичен и тверд и любил поговорку: «Мы можем делать все, что угодно, ибо мы — король».

Берлинские вечера протекали в дыму «табакс-коллегиумов», где занимались бездельем и осыпали насмешками Версаль и французов. Поэтому — изгнан парик. К тому же и ученым Сальмазиусом давно уж доказано, что волосы принадлежат к безразличным вещам.

Табачную комнату одевает коричневый ток бумажных шпалер, наведенных волнами золотых разводов. Гундлинг, Граббе и Носсиг — веселые советники — окружают Фридриха. Они похожи на трех поросят. Различить их можно с трудом, до того велико между ними сходство, потому что подобраны люди по росту и так, чтобы ум, лицо и веселость были на один манер.

Компания — вокруг стола: министры, шуты и король с деревянными скулами и торчащими щеткой усами. Его волосы гладко зачесаны и собраны в пучок на затылке. Синий мундир узок, ворот давит, и Фридрих выкатывает грудь колесом. При этом ущербные пуговицы сочатся скупым, истощенным блеском. Перед каждым — высокая кружка с пивом, глиняная трубка и листы голланд­ских газет.

Король смотрит оловянными, пустыми глазами и говорит, открывая коробку с трутом и огнивом:

— Друзья мои! Сегодня я буду «доктором табачной науки». В прошлый раз Граббе обогнал меня на сороковой трубке.

— Он плохо затягивался,— замечает Гундлинг,— советую вам лучше за ним следить.

Компания усердно дымит. Батарея ртов выстреливает клубками и кольцами дыма, отчего будто становится низким и кажется пухлым потолок.

— Где же мои генералы? — спрашивает деревянно-оловянный король.— Я слышал, они привезли скверные вести.

— Они здесь,— отзывается Носсиг.— Я только ждал, когда ваше величество о них спросите.

— Я спросил...— говорит Фридрих и на миг с кружкою пива изменяет трубке.

Носсиг распахивает дверь, и в табачную комнату входят дни генерала, ездивших из Берлина в Галле на смотр.

Они приветствуют короля и застывают в молчании.

— Что случилось? — спрашивает Фридрих.

— Опасность! Движение среди министров.

— Французы?!

— Хуже. Угроза касается лучшей части наших солдат. Король встает, нависая над столом, как грозный идол в облаках курений.

— Что может угрожать моим великанам?!

Деревянный кулак сжат так, что белеют пальцы. Один из генералов начинает доклад:

— Дело в пагубной философии одного профессора в Галле, уже известного при дворе своим вольнодумством...

— Философия? — Фридрих опускается в кресло и берется за трубку.— Это пустое. То, чего нельзя осязать рукой, не может причинить нам вред.

— Нет, ваше величество, к сожалению, дело весьма серьезно. Этот прохвост учит, что все происходящее на свете необходимо должно происходить. Знатоки утверждают: как только подобные мысли распространятся между солдатами-великанами, они разбегутся на том основании, что если им пришла охота бежать, то наказывать их нельзя, ибо ими управляет рок.

— Друзья мои! — обращается к советникам Фридрих.— Так ли это?

— Я не знаю,— отвечает Граббе.

— Я тоже,— отвечает Носсиг.

— А я знаю,— отвечает Гундлинг.— И могу пояснить.

— Говори!

— Учение этого профессора оправдывает дезертирство.

— Так...— цедит сквозь зубы король.— Я покажу ему предопределение!

Пишет:

«...под страхом виселицы покинуть пределы Пруссии в двадцать четыре часа».

И прибавляет с усмешкой:

— Все происходящее на свете необходимо должно происходить. Не так ли?

**3**

В осеннюю, оплетенную в железный проливень ночь по дороге из Галле в Эйслебен подвигалась повозка. Под плохой кожаный верх натекала вода, и продрогший седок, сгорбясь, сидел на своих баулах, тревожась за целость рукописей, книг и инструментов.

В самый немилостивый час, когда лошадь совсем уж засекло дождем, вблизи неожиданно выблеснул огонек харчевни. Путник вошел, сбросил скользкий, холодный плащ и спросил себе поесть. Седой громадный старик подбросил в очаг хворосту, разбудил дочь и велел накормить гостя и возницу.

Оба за едой хранили молчание, и хозяин ни о чем их не спрашивал. Он только изредка бросал удивленный взгляд на крупное с хрящеватым носом лицо проезжего в парике, обложившем замерзающим паром буколь его приподнятые, слегка сутулые плечи.

Дождь внезапно утих. Незнакомец оделся, заплатил за ужин и собрался в дорогу.

— Куда же вы в такую пору? — изумился хозяин.

— В Эйслебен,— ответил путник, и лицо его осветилось лукавой усмешкой.— Туда, где родился и умер Лютер. Его не терпели. Он был изгнанником. Теперь его последователи изгоняют других.

Старик понял и более не настаивал.

— Марта! — позвал он дочь.— Поднеси-ка нам прощальную кружку.

Таков был обычай.

И когда сонная смешная толстушка с торчащим в волосах сеном подала гостю пиво, старик тихо спросил:

— Позвольте узнать ваше имя? Изгнанник снял шляпу и поклонился.

— Я — Христиан Вольф.

**2**

Вольф — Корфу:

«Тому, что уже случилось... вряд ли можно помочь... Деньги, привезенные ими с собою, они прокутили, не заплатив того, что следовало, а потом, добыв себе кредит, наделали долгов... Они, кажется, еще не знают, как нужно обращаться с деньгами и жить бережливо, да и не думают о том, чем кончится дело, когда их отзовут. У г-на Ломоносова, повидимому, самая светлая голова между ними; при хорошем прилежании он мог бы многому научиться, выказывая к наукам большую охоту и любовь...»

Пипетки, бюретки, чашки для выпаривания, фарфоровые и платиновые тигли.

Теплый, сухой, проспиртованный воздух и хрустальный холодок эфира, борясь, проникают в кабинет.

Дверь в лабораторию приоткрыта. Над длинным полем стола склонились студенты. Виноградов стоит у окна, держит ловкою хрупкою ручкой склянку и встряхивает ее на свету.

— Я вас слушаю, господин Ломоносов,— говорит Вольф, наклоняя обложенную буклями голову.— Как же вы разрешили задачу?

Ученик изрядно смущен. Ему было бы куда легче стоять, а тут его посадили в кресло, и вот собственные руки портят все дело: их никак не пристроишь — ни с края стола, ни на коленях, и — что совсем уж несносно — они начинают дрожать.

— Рассуждаю,— отвечает он все же достаточно твердо,— что посуда из платины не только для жидкостей, выделяющих хлор, не пригодна, но также и для выпаривания свинца, висмута и иных металлов, затем, что с оными платина образует сплав.

Сразу становится легче.

На губах Вольфа возникает улыбка.

— Следует лишь прибавить сюда вещества, содержащие фосфор... У вас ясный ум, господин Ломоносов. Надеюсь, пребывание ваше здесь не будет напрасно...

Руки дрожат недаром. Паричок прилипает ко лбу Ломоносова. Он вскидывает лицо, как бы ставя его под удар, и, весь бурый, смотрит Вольфу в глаза.

— Я виновен, виновен, господин советник!.. Поведение мое... Хлопоты, причиненные вам моими долгами...

— Оставим это! — перебивает проректор.— Вполне достаточно, что вы сознаетесь в своих ошибках. Кредиторы согласны ждать, пока деньги получатся из Петербурга. Постарайтесь только не делать новых долгов.

— Простите, что я не заплатил *вам* за лекции.

Вольф смеется.

— Мне вы отдадите в последнюю очередь. Вам известно, что я с радостью допустил вас слушать, помимо общих, еще и специальные курсы.

— Долг профессорам Тилеману и Гартману меня беспокоит не менее.

— Но и они получат свое. В этом я совершенно уверен. Все уладится, и вы поедете изучать дело маркшейдера. Мне кажется, что в этих знаниях особенно нуждается ваша страна?

— О нет, я не согласен,— с некоторою резкостью говорит Ломоносов.— По правде, науки у нас еще не начинались. В России совсем, ну просто совсем еще мало знают!

— Господин Ломоносов намеревается стать в своем отечестве полигистором? 1.

— Да! — отвечает он гневно, и руки его сразу находят себе место.— Ученые люди нужны нам для горных дел, фабрик, исправления нравов, сохранения народа, правосудия, земледельства, предсказания погоды, плавания севером и сообщения с ориентом. И я говорю себе: мне надобно все узнать, все осмотреть!

Вольф склоняет голову набок, потирая руки, сдержанно любуясь волнением Ломоносова.

— Вы к тому же и любитель философии, как я заметил. Какой же автор вас более других привлекает?

— Гуго Гроций и Пуфендорф.— Студент смотрит поверх головы проректора и видит полку, где под солнечным коротким ударом стеклянный сосуд отражает собранный точкою блеск.— Гуго Гроций и Пуфендорф. Оба они толкуют об естественном праве и должностях человека и гражданина, основываясь на безопасности общежития и на едином лишь разуме, без пустых словопрений богословской схоластики...

На полном, гладком лице обозначаются скулы. Слова уверенно, ловко цепляют одно другое. Все в студенте скатано комом, и ком этот прост, понятен, прозрачен. Глаза широко и ясно лучатся: сосуд отражает твердый, собранный точкою блеск.

— А как вы находите курс мифологии?

— Лекции профессора Санторока изрядными мне не кажутся. Древние мифы изъяснять должно не затем, чтобы мастерить из них новые, но дабы корни простых и натуральных свойств в них открывать. Для примера — что до мифа о Прометее относится (в том меня утверждает «Аргонавтика» Аполлония Родосского), полагаю, не пострадал ли сей муж за то, что наблюдал звезды и сводил огонь с неба с помощью стекла?..

— Я хочу предостеречь вас...— задумчиво произносит Вольф.— Много лет назад философия сделала меня изгнанником. Я скитался... Быть философом — это значит иметь врагов. Но быть может, на вашей родине имеют обыкновение думать иначе?

— На моей родине имеют обыкновение вырывать ноздри, урезывать язык, засекать кнутом!.. На моей родине пока еще преграды к приращению наук неисчислимы!..

Ломоносов встает. Шитье его камзола скрипит. Выпущенный на грудь бант подлетает к горлу. Волнуясь, продолжает:

— Но я люблю свое грубое отечество, господин советник, я знаю, в чем его нужда... Я имел один алтын в день жалованья: нельзя было тратить на пропитание больше, как на денежку хлеба и на денежку квасу. Так я жил пять лет и наук не оставил. Пребываю в твердой надежде, что и науки не оставят меня...

Два ручейка, две бороздки от крыльев носа — к углам Вольфовых губ. Но обычной улыбке не скрыть горячего блеска глаз, их восторженности, того, что проректор заметно взволнован.

— Я весьма вами доволен,— говорит он, слегка опираясь на ручки кресла,— и коллегою Виноградовым также. У вас светлая голова, господин Ломоносов. Я имел удовольствие писать о том в Петербург...

*1 Полигистор — прозвище писателя Александра Милетского (II век до н. э.) — сведущий во всех областях знания (греч.).*

**3**

— Что же про меня говорят?

— Что вы начинаете проявлять более кроткие нравы.

— С тех пор как увидел вас, фрейлейн Елизавета, с того самого дня.

— Имейте стыд, господин Ломоносов! Какой же это был день, когда во всем Марбурге не спали одни кошки?

— Изрядно замечено! Я допустил ошибку в разговорной речи, а сего следует избегать, памятуя и о правильности письма.

— О чем вы собираетесь мне писать, господин Ломоносов?

— Вы меня неверно поняли. Говоря о письме, я разумел под этим слог сочинительский.

— А-а-а...

Они идут в темноте под деревьями, одолевая низеющие холмы предместья, их курчавую спящую зелень, прорезанную блеском «Ручья еретиков».

Это место облюбовано для прогулок. Некогда инквизиторы бросали сюда пепел сожженных... Рослая волоокая девушка — впереди. Вдвоем нельзя идти по узкой тропинке. Кринолин ее слабо шумит, и от него отделяется особый, свойственный дому Цильхов, запах. Рыжие погасшие волосы нависли слитком на полную белую шею, на которой темнеет платочек, сложенный спереди уголком.

Так бывает.

Люди ничуть не подходят друг к другу. Он — готов разъять, расщепить мир на самые малые доли и затем все обобщить — постигнуть его законы, готов схватить рукой горизонт (ведь надо все узнать, все осмотреть)... Для нее — было б просто и целостно все, вот и Gott sei dank1., и жить можно счастливо... Они ничуть не подходят друг к другу. Но кто им скажет об этом? Да и, быть может, это не важно?.. И они движутся рядом, пересекая поле притяжений: железо и магнит.

Они идут рядом, пересекая небольшое поле, отданный ветру участок, уходящий в смутно угадываемый, залегший где-то на горизонте лес. Ломоносов держит под мышкой шляпу и на ходу сбивает сухие стебли суковатою палкой. Его спутница оступается. Он крепко схватывает ее за руку.

— Осторожнее, фрейлейн Елизавета! Она чувствует его твердое плечо.

— Говорят, вы очень сильны. Это правда?

— У себя на родине, будучи лет четырнадцати, я одолевал тридцатилетних лопарей.

— Эти ваши лопари пречерные?

— Летом, когда солнце у нас не заходит, они загорают, но лопарки весьма белы.

— А вам не хочется вернуться в отечество, господин Ломоносов?-

— Покуда — нет,— говорит он, останавливаясь и всаживая в землю палку.— Я еще не имею свидетельств по химии, и маркшейдерский курс мною не пройден. В Академии делать мне нечего за**тем,** что уж слишком там много работы, успехи ж мои скромны. И я повторяю слова учителя моего, профессора Вольфа: «Больше пиитов -— больше знания, меньше друзей — меньше хлопот».

Она поворачивает к нему лицо, круглое, как лунный лик, такое же, как и его. Он выдергивает из земли палку, и они идут плечо к плечу, высокие, почти одного роста.

— Мой брат Иоганн,— замечает она с улыбкой,— говорит, чтовы никогда не исправитесь. Вчера ему жаловался на васночной сторож...

— Я побью вашего брата, фрейлейн Елизавета. Верьте не ему, а мне... Еще силы мои слабы, но я знаю себе цену: она много больше трехсот рублей, столь неисправно высылаемых мне по третям... Жизнь, которую ведут студенты в Германии, иная, чем у нас, в России. Я здесь — на свободе. А много ль ее у меня впереди?.. Мои товарищи и я задолжали около двух тысяч талером. И я наделаю новых долгов. Пусть поморщатся, прикинут, сколько я стою... Мне еще предстоит повышение в Петербурге. Как только меня отзовут...

Он занесся. Стоило услышать ему опохвальном Вольфовом отзыве — и он ухватился за него, крепко держал, слишком обнадеживая себя на этот счет.

— Пора домой,— говорит она.

— Пожалуй. Не то ваша матушка затревожится. Кажется, она меня не жалует?

Он не получает ответа. Они идут молча, в ногу. У обоих крупный, почти одинаковый шаг.

— Желал бы я знать,— прерывает он молчание,— что сейчас у нас в Холмогорах, в Денисовке... Там отец... Должно быть, в море ушел...

— Я знаю, вы уедете.

Она складывает руки на груди и вздыхает.

— Вы поедете со мной, фрейлейн Елизавета,— резко бросает он, смотря вперед, и вытягивает губы гусем.

Он видит аспидное немецкое небо, скупые чуждые звезды, вспоминает полярный родной небосвод в сверкающих цветных хрусталях с яйцо величиной.

Голова его запрокинута. Черный бант вскинут ветром до горла.

— Я недавно читал,— говорит он,— Фонтенеллево рассуждение о множественности миров. Весьма любопытно...— И, глядя вверх, прибавляет: — Вот бы... возвыситься...

— Вы получите повышение,— ободряюще восклицает она,— я тоже надеюсь на это...

Они ничуть не подходят друг к другу. Да и, быть может, это не важно?

И вот движутся рядом, пересекая поле притяжений: железо и магнит.

*1 Слава богу (нем.).*

**4**

Вольф — Корфу:

«Студенты уехали отсюда 20 июля утром после 5 часов и сели в экипаж у моего дома, причем каждому при входе в карету вручены деньги на путевые издержки... Мне остается только еще заметить, что они время свое провели здесь не совсем напрасно. Причина их долгов обнаружилась лишь теперь. Они чрезмерно предавались разгульной жизни и были пристрастны к женскому полу. Пока они сами еще были здесь налицо, всякий боялся сказать про них что-нибудь, потому что они угрозами своими держали всех в страхе. Отъезд их освободил меня от многих хлопот... Когда они увидели, сколько уплачивалось за них денег, и услышали, какие им делали затруднения при пере­говорах о сбавке, тогда они стали раскаиваться и извиняться предо мною. При этом особенно Ломоносов от горя и слез не мог промолвить ни слова».

Восторг внезапный ум пленил,

Ведет на верьх горы высокой,

Где ветр в лесах шуметь забыл,

В долине тишина глубокой...

В долине тишина. Глухое местечко приникло к подножию Саксонских Рудных гор. Гнейсы и сланцы угнетают окрестность, прерываемые базальтом, сжатым в массивы крутых куполов, и все это обложено лиловой опухолью предгрозья. В безветрии *слабо* дымят чугунолитейные заводы. С серебряных рудников возвращается народ. Отовсюду — где ни стоять — одинаково ясно слышен горный колокол. Это — Фрейберг.

Глаза — вровень с окном. Почти на уровне их маячат острые кровли ратушки и кирхи. С покрасневшим бабьим лицом он отрывается от бумаги и закладывает за ухо перо. На столе среди книг «Gunter's Gedichte», куда он изредка заглядывает, «Gulliwer's Reisen» и Фенелоновы «Aventures de Telemague»... В углу склонился над тетрадкой, качая узкой головой на цыплячьей шее, Рейзер. Локоть Ломоносова на стопке исписанных листков. Это — переводы донесений, посылаемых в Петербург Юнкером, франтоватым безусым академиком, приехавшим изучать соляное дело. Сегодня Юнкер получил из России листки «Ведомостей» с реляциями об одержанной над «неприятелем целого христианства» виктории. Фельдмаршал Миних разбил в Молдавии турок и взял город Хотин. Победа должна была получить громкий отзвук при русском и европейских дворах, и Ломоносов сел сочинять свою первую оду.

Он вслушивается в глухую возню грома, опускает голову и начинает быстро писать, читая целые строфы вслух.

Его окликает из своего угла Рейзер:

— Михайла! А ведь это весьма схоже с Гюнтеровой одой на мир Австрии с Турцией.

— Что ты знаешь?! — вспыхивает Ломоносов.— У Гюнтера тон не тот и ударение иное.

— Стихи изрядны,— поправляет Рейзер.— Они отменно хороши и рифмою и, главное, размером, который переводчик Тредьяковский в свет опубликовал.

Ломоносов бросает перо в песочницу, складывает на груди руки.

— То — Гюнтер, то — Тредьяковский! По-твоему, так я у обоих стихи таскаю?

Молчание.

— Размеры не сочинителями выдуманы бывают, но единственно из природных свойств языка происходят. Я правила Тредьяковского опровергну и свои вместо них представлю... Гляди, что он вводит: рифмы, схожие с теми, что есть у французов и немцев. «Такая-де смесь не противна нежности уха...»

Он увлекается и добреет.

— Послушай *мои* о российской версификации мнения...

В мягком, бархатном гуле начинают ехать куда-то горы. Хлопает дверь, звенят кофейные чашки на столике, и за окном быстро шумит стеклярус дождя.

— Версификация?! — раздается озорной, насмешливый голос, и в окне появляется мокрая курчавая голова.

Виноградов, уцепившись за карниз, подтягивается на руках и спрыгивает в комнату. Лицо его влажно, камзол перепачкан глиной; глаза живут умным, стреляющим блеском, а левую бровь отогнул к виску свежий синяк.

Он садится, вынимает из кармана парик и разглаживает его на коленях; замечает на столе кофейную чашку, берет ее и, вращая за донце всей пятерней, рассматривает глазурь.

— Тебя опять били? — спрашивает Ломоносов.

— Били,— равнодушно отвечает Виноградов.— Им тоже не худо досталось... Совсем не стало прохода от кредиторов... Хочу ехать на мейссенские заводы...— Он задумывается, продолжая вертеть пальцами чашку.— Погляжу, как делают фарфор.

— Генкель тебе присоветовал?

— А хотя бы и он. Совет неплохой, Михайла.

За окном, шипя, ломается молния. Рейзер вздрагивает и закрывает уши. Громовая глыба распадается с треском. Ломоносов смотрит в зашитую дождем даль, достает из-за уха перо и склоняется над бумагой.

Кругом его из облаков

Гремящие Перуны блещут...

— Не вижу причины,— говорит он, косясь на Виноградова,— почему мне Генкеля почитать своей путеводной звездой... Что до курса химии надлежит...

(И, чувствуя приход Петров,

Дубравы и поля трепещут.)

...то он месяца за четыре едва учение о солях пройти успеет. Опыты его не удаются. Описанием их с примесью его пошлых шуток и пустой болтовни тетради наши наполнены.

— А Вольф? — Виноградов щурится и собирает морщинками лоб.— Лучше? Думал — русские, так не взыщем? По химии Сталя сперва нам негодного учителя дал.

— Ну нет! Их не равняй. Генкель на деньги наши барышничает, покупает паи в рудниках. А Вольф — что бы мы без него делали? Помогал нам.

— Помогал!.. Гуляками пьяными обозвал, когда писал в Академию. Там сего не забудут. Несладко придется, как вернемся туда.

Ломоносов встает, хмурится и начинает быстро ходить.

— Я вот что,— решительно говорит он,— буду у немца просить денег.

— Что ж, давай вместе... Густав! — обращается к Рейзеру Виноградов.— А ты как?

— Отец пишет,— вытянув шею, тихо отзывается тот,— что деньги для меня будут высланы к сроку.

— «Отец пи-и-шет»! — передразнивает его Ломоносов и обрывает: — Скотина! Ступай ты от нас вон!

Рейзер выбегает за дверь. Виноградов откидывает назад голову и хохочет.

Дождь проходит. Теплый сырой ветер начинает залетать в окно, и комнату обливает последний медный свет солнца.

Ломоносов садится за стол, перекладывает бумаги, берется за письмо о правилах стихотворства. На ямбические триметры не хватает примера. Он исписывает осьмушку листа, зачеркивает все; пишет, зачеркивает, наконец склоняет голову набок. Ничего! Как будто ладно!

...Приятный Запад веет,

Всю землю солнце греет.

В моем лишь сердце лед.

Грусть прош • забавы бьет.

«Грусть прочь забавы бьет» — это был германизм: weg-|i lilagen.

**5**

Корф — Генкелю:

«Эти три лица в прилежании и успехах очень не равны между собою, в мотовстве же как бы превосходят друг друга. Поэтому Академия наук постановила, вместо 300 рублей стипендии в год, выдавать каждому половину... чтобы то, что должно быть израсходовано на них, было уплачено вами самими кому следует; студентам же кроме одного талера в месяц, назначенного им на карман, не выдавать никаких денег на руки, а между тем объявить везде по городу, чтобы никто им не верил в долг».

— Славный саксонский фарфор делается в Мейссене,— наставительно диктует Виноградову Генкель, плотный человек с лицом в крепких, каменных складках, похожий на маленького седого бобра.

— Саксонская глина лучше и вязче китайской,— говорит он, бросая взгляд в сторону Ломоносова, который вовсе его не слушает и что-то обдумывает, изредка зевая на весь минеральный кабинет.

— Блюдо из этого фарфора не трескается, разогреваемое над спиртом. Химик Бетигер случайно, при смешении земли для тигля, открыл состав. Чтобы получить его,— пишите, господин Виноградов,— надо взять белой глины, белого кварцу и гипса, обращенного в известь, в той самой пропорции, какую требует означенный рецепт...

— Какова же пропорция? — перестав писать, спрашивает Виноградов.

— Каков плут! — тихо по-русски восклицает Ломоносов.

— Фарфоровое тесто,— упрямо, с деланным раздражением продолжает Генкель,— ставится с дождевой водою дважды в году. Оно мокнет шесть месяцев, пока сделается синеватым и приобре­тет неприятный запах... Ну, на этом я сегодня закончу, тем более что господин Ломоносов меня не слушает, а когда так сильно зевают, можно повредить себе рот.

В окна ломятся горы, близкие, белые под первым снегом. Бодрый холодный свет лежит на коллекциях минералов за стеклами, на медных частях буссолей и штативов, веселит акварельную карту Саксонии у дверей в углу.

Генкель приближается к Ломоносову:

— Мой любезный ученик, о чем же вы думаете?

— О том, что естественную историю и металлургию нельзя выучить из этих шкапов и ящичков,— и Ломоносов, привстав, широким жестом зачеркивает притаившийся вокруг тихий застекленный мир.

— О, значит, вас занимают более глубокие мысли?

— Я имел размышление о причинах тепла и стужи... Позвольте представить... Рассудил я, что невесомая материя, называемая *теплотвором,* которая якобы переливается из одного тела в другое,— вымышлена. Истинную же причину тепла вижу во вращательном движении частиц весьма малых, из коих, полагаю, состоят все тела.

— Мой любезный ученик,— говорит Генкель, и складки на его лице размягчает брезгливая улыбка,— вращательное движение частиц мне знакомо: это не более как кружение юного вашего мозга. Приказываю вам оставить подобные несбыточные причуды, или я должен буду лишить вас тех знаний, которые вы имеете от меня получить.

— Мне останется предпочесть свои, хотя малые, но основательные!

— Вот как?! — шипит Генкель и оглядывается на Виноградова.

Тот повернулся боком, опустил к самому столу голову и грызет перо.

— Вот как вы рассуждаете! Не забывайте, что на вас тратятся деньги.

— И очень большие. Со своих немцев вы берете по сто пятьдесят, а с меня и моих товарищей — по триста тридцать рейхсталеров!

Генкель делает презрительное лицо и смеется:

— Царица богата, может сколько угодно платить.

Ломоносов отодвигает стол и косым шагом ступает на середину.

— Господин берг-физикус! Вы удерживаете наше жалованье. Я требую, чтобы оно было нам выдано!

— Я имею инструкцию из Петербурга.

— Вы и до того ничего не давали,— вставляет Виноградов.— Нам нет возможности изворачиваться на один талер в месяц.

Седой бобр задыхается.

— Вон!.. Ступайте вон оба!..

— Вы уплатите деньги,— кричит Ломоносов,— или я сегодня же покину Фрейберг!

— Попробуйте только!.. Какова дерзость!.. Мне известно, что вы уже и прежде буянили в разных местах. Кроме того, поддерживаете подозрительную переписку с какою-то марбургской девушкой,— одним словом, ведете себя непристойно...

— Что-о-о?!

Ломоносов хватается за полированный ящик с коллекцией минералов, заносит его над головой... Розовые щепы трещат на полу, и пестрые сиениты, фонолиты и кварцы твердыми брызгами бьют но ногам Генкеля.

— Мошенник!.. Ungebildete! 1. — вопит Ломоносов, мешая русскую речь с немецкой.— Я тебе покажу переписку!..

И — прочь из кабинета, продолжая и в коридоре что-то крушить, кричать, топотать.

Виноградов выбегает за ним.

*1 Неуч (нем.).*

**6**

«В настоящее время я живу инкогнито в Марбурге у своих приятелей и упражняюсь в алгебре, намереваясь оную к теоретической химии и физике применить».

— Ну, хватит, пожалуй? Или еще прибавить?..

«Утешаю себя пока тем, что мне удалось в знаменитых городах побывать, поговорить с некоторыми искусными химиками, осмотреть их лаборатории и рудники в Гессене и Зигене...»

— Вот и все... Значит, живу «у приятелей»... Это разумно. Не доносить же мне Шумахеру: дом принадлежит теще моей, фрау Цильх... Виноградов, дорогой, спасибо тебе за известия, только ты, шельма, редко пишешь... Так Генкель говорит: «Фрейбергский ученик Ломоносов весьма не в состоянии находится»? Вот уж правда. Именно: «не в состоянии». И сказать-то лучше никак нельзя... Да, претерпел изрядно! В Лейпциге на ярмарке посланника Кейзерлинга искал. Добивался его в Касселе, а он укрылся, не пожелал со мною говорить, а Вольфу я и сам в тягость быть не захотел, приметив к тому же, что он не склонен ввязываться в сие дело... Одним себя утешил — женился. Венчался тайно (не со борзых коней!), почитай, воровским путем. Иной раз и самому дивно! — фрейлейн Елизавета Цильх... фрау Elisabeth Lomonossow... Я еще и в Роттердам и Гагу плавал, да посланник Головкин мне тоже во всем отказал. На дороге был изловлен королевскими вербовщиками, свезен в Везель. Едва сумел из крепости бежать... Выходит — куда как легче сделаться прусским уланом, нежели российским профессором. Так и живу в чужой земле, без гроша, опасаясь, что посадят за долги в тюрьму. Вот уж подлинно — «не в состоянии нахожусь». Науки, науки — вся моя отрада... Что до алгебры, применяемой мною к теоретической химии,— надеюсь таковым применением немалые двери открыть. Между прочим примечено мною, что если к одному телу что-нибудь прибавится, то столько же отнимется от другого... Что законы природы единственно в числах постигать должно, о том и Вольф постоянно толкует, да то я и без него еще из книжки Магницкого знал... А у нас в поморских двинских местах-то скоро ветры потянут, выгонят льды из Белого моря в океан... Не раз, проезжая Гессенское ландграфство, вспоминал я родину... Видеть мне случалось между Касселем и Марбургом ровное песчаное место, поросшее скудным леском, где было множество целых и ломаных морских раковин. Смотря на это, вспоминал я многие отмели Северного океана, как они во время отлива из воды выходят. Не сама ли натура указывает здесь, что равнина, по которой ныне люди ездят, в древние времена была дно морское?.. (Конечно, так! Надо записать!..) Да еще надо бранить Виноградова, чего не шлет книг Гюнтера и сочинения о России Петра Петрея. Прочие ж мои вещи пусть продаст... А ведь убегу я отсюда, все брошу, либо добьюсь посланников — пускай определяют к делу, либо в обратный путь снаряжают... Как был в Амстердаме, видел купцов архангельских, так они без приказу возвращаться на родину остерегали... Ну, что делать? И силы довольно, и голова на плечах. Куда мне себя девать?.. Ба! Это что?.. Письмо?.. От Шумахера!.. За университетскою печатью... Кто ж принес?.. Ох, Лизавета! Положила, ничего не сказав... Ордер из Академии. Приказано возвращаться... «Ваше благородие имеете не медлить ни единой минуты»... Вексель в сто рублей переслан через советника Вольфа?.. Что ж, и на том спасибо. Был я послан за море и жалованье получал в сорок раз против прежнего. А бывало, не получал и вовсе, и то меня от наук не отвратило, но лишь умножило охоту, хотя и силы мои имеют предел. А медлить — нет, не стану. Не вижу к тому причины... В России, я чаю, простор­но... А вот просторно ли?.. Ну да ладно... А ежели кому сидеть покажется неловко, так я того и потеснить могу...

**ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ**

Осенью тысяча семьсот сорокового года осиротела дворцовая собачка Цытринька, известная Сенату по счетным записям об отпуске ей сливок молочных по кружке на каждый день. Остались хиреть и французские ищейки, и борзые со струнными ногами, и тарсиеры, и весь хор незатейливых *дурок.* Умерла Анна, назначив Бирона регентом, сказав на прощанье ему одно лишь слово: «Небось!»

А он, придавивший страну железным своим подбородком, боялся.

Уже встречались во дворце офицеры, и говорилось негромко:

— Ну, здорово живешь, что у вас делается?

— Да, разве не знаешь? Регент сделан.

Пугала и брауншвейгская фамилия, а более всего — цесаревна, что жила на Смольном дворе и слыла кумой всего гвардейского Петербурга. Бирон понял, что явиться в Россию «в мизерном состоянии» и стать высочеством — это не шутка, и он стал убирать подбородок, спеша подобреть.

Он приоткрыл тюрьмы, пообещал выдать жалованье чиновникам, а несущим караул — шубы; отдал в руки помещиков сбор податей и сбавил на один год по семнадцати копеек с души. Но спустя месяц он лежал в дворцовой караульне, давясь вбитым ему в рот кляпом. Платье его было подарено фрейлинам. Они спороли позумент и дали *на выжигу.* Из Бирона вытопили: золотых четыре шандала, шесть тарелок и две коробки. Петербург узнал о преступлениях регента и о назначении правительницей Анны Леопольдовны. Об этом объявил император Иоанн Антонович, которому от роду было семь с половиной недель...

В сороковых годах Англия стремилась к созданию колониальной империи. На морях постоянно происходили «затмения»: Франция пенила одни воды с Британией, и белый флаг с лилиями затмевал полыхание жарко-золотого льва. Но вот посол Финч купил право на вывоз шелка из Персии, надеясь просочиться оттуда в Индию, и в Лондоне образовалась Персидская компания. После смерти Анны Бирон заключил союзный договор с Англией. Этого «лилии» не могли стерпеть.

В Петербург прикатил маркиз де ля Шетарди, оставив двойной след в русской истории: первый — ввезя в Россию шампанское и приблизив корону к голове дочери Петра. Обе миссии не следует рассматривать отдельно — они соприкасались. Последующее царствование можно назвать в известном смысле *шампанским.* Эпоха *куртагов*1., «петербургской Версалии»2, увеселительных огней, фарфора, художеств, создавшая поговорку «жить припеваючи»...

Впрочем, увеселительные огни иногда пускались доведенным до отчаяния людом.

И некоторые находили, что напиток — весьма кисловат.

Летом среди бела дня в доме генерал-полицмейстера в Петербурге воры срезали и унесли атлас, которым были обиты стены спальной. Тогда ровно в одиннадцать часов ночи стали опускаться шлагбаумы «для прекращения воровских приходов», и появился указ: «Нищих обоего пола в Петербург ниоткуда отнюдь не пропускать».

Указ запоздал: нищих, то есть беглых крестьян и мастеровых, набилось во все *фартины,* или харчевни, и лавки маркитантов. В одной из таких фартин гренадер Невского гарнизонного полка башкирец Мадым Бетков нашел своего земляка.

Он встретил башкирца, приставшего под Казанью к русским — беглым с уральских заводов Демидова. Закон запрещал приписывать к партикулярным заводам целыми деревнями: следовало производить работу купленными крестьянами, а не казенными, дворцовыми. Но за широкой спиной Бирона ничего не было видно, и Демидов мог заводить крепостных, сколько хотел.

В харчевне за жидкою похлебкою из рубцов, грешневиками и квасом сидел пришлый замызганный люд, разносчики сбитня и обжигальщики с Невских черепичных заводов. Башкирец в бешмете и тубетее, сыпавшем фольговым блеском, смотрел на гренадера, крутя редкую бороду. На плечо его навалился курносый, с белыми плутовскими глазами парень в новой лакейской ливрее и набок сдвинутом картузе.

Мадым Бетков казался на три головы выше всех: две головы на нем заменяла шапка. Высокая, в поларшина, с зеленым верхом и красной опушкой, она освещалась бляхой с гербом полка и чекан­ным изображением пылавшей гранаты. У него были блестящие, тонко, до синевы, ссученные брови, лицо — будто травленное порохом — в мелких зеленоватых точках, и скулы твердые, как кремень.

На родине у Мадыма случилось горе. По весне в разных местах поднялись башкирцы — зашалил какой-то, прозвищем Карасакал, или Черная борода. Карательный отряд выжег под Самарой аулы и взял аманатов3. самым вероломным образом. Потомственного страха ради башкирские ребята и девки были розданы участниками экспедиции. Беткова взяли на военную службу, а среди пленных оказалась его, Мадыма, жена.

Гренадер поклялся, что найдет свою Ентлавлет и, если понадобится, уведет силой. Земляк сказал ему, что видел ее в Самаре, среди челяди проезжего чиновника Сибилева, а что он, Сибилев, за человек, того башкирец не знал...

Голоса перебивавших друг друга людей сливались в глухом тоне нараставшей угрозы.

— Государыня призывала цесаревну Елисавету,— говорил горбатый рыжий сбитенщик с белыми, льняными бровями и лицом цвета морквы,— призывала и изволила сдавать цесаревне Российское государство. Только ее высочество говорила: ежели государыня на три года учинит работным людям льготы да иноземцев всех вышлет, тогда ее высочество и государство на себя возьмет.

— Без льготы никак нельзя,— отзывались мастеровые.— В Ярославле на бумажной мельнице так воли нам и пошалить нет: бьют и держат в колодках без сроку. Мы уже и то думали хозяина убить, а фабрику его выжечь, и будет нам воля.

— Овладели всем немцы,— толковал сбитенщик,— вот никому и воли не стало. Всех бы их до смерти уходить!..

— Это верно, про немцев,— сказал один из беглых, чумазый и белозубый, кожа да кости.— Кабы не они, не прибирали бы нас Демидовы к рукам. А то ведь для жжения дровяных куч *выбивают* нас в самую летнюю рабочую пору, а числят в день по три копейки. Да мы ж от себя наемщиков ставим в сутки по двенадцать копеек, а в грязь великую и по тридцать копеек дашь...

Гренадер придвигался к земляку. Травленное порохом лицо его вспыхивало.

— Слушай,— говорил он,— как наших в аманаты взяли... Ночь была. Звезды были. На всю степь светили костры... Больше ста кибиток приехало. Мир — так мир. Генералы сказали: «Присягайте на Коране», стали угощать мясом и водкой, дарить на кафтаны алое сукно... Глупый, жадный народ наш! Никто не взял оружия. Ели, радовались — много водки, много мяса. Ентлавлет пела: «Твои зубы, мои зубы встретились — ты расстаял, как белое серебро...» Мир — так мир... А утром взяли аманатов. Тридцать! Остальных — кого казнили, кого в плен и на службу... Ее я больше не видел. Она спала, держась за свою грудь...

Башкирец захлопал глазами и быстрей закрутил бороду. Парень в лакейской ливрее вздохнул и дернул рассказчика за обшлаг.

— Стало быть, искать надо,— протянул он.— Жену-то. Вот дело пустое!

— Как пустое?.. Да ты что за человек?

Гренадер отодвинулся. Становилось и так невмоготу жарко, а дыхание у парня было горячее от выпитого вина.

— Зовусь Федот Ламбус, родиною из Курляндии, а живу в услужении у советника Шумахера, что самый главный в Академии наук. Ты, брат,— продолжал он,— за меня держись. Мы при канцелярии живем. До всего можем достигнуть.

Гренадер вскочил, касаясь верхом шапки потолка харчевни.

— Правду говоришь?

— А для чего врать?.. Пойдем-ка отсюда. Ты не гляди, что я пьян. Я вполне в себе.

Мадым Бетков двинулся за лакеем, протискиваясь между лавок.

Было шумно и парко. Одежда взмокла, прилипая к телу. Большие синие мухи усеивали столы.

В темном углу, где сидел хозяин, велась тайная торговля водкой.

Люди тянулись туда, неся в заклад то кафтан, то шапку, а то и онучу. Ходила по рукам новая народная картинка, и чей-то голос тянул по ней нараспев:

— «Дано мне отпускное письмо, чтоб от бедности и скудости своей покормитца, легкой *шибаевой* работой поживитца. А сказано: жить ему без пашпорту, а воровать ему без пошлины, а краденое продавать без порук...»

— А кому продавать? — перекрывал чтеца хрипловатый бас.— Таким же ворам и мошенникам, что свои братья шибаи... 4.

— «...А по сему данному от нас письму никому бы ево у себя не держать, а где ево ни увидят, там ево задержать. А лучше б ему в Военной коллегии явитца, а от шибаевой работы отвалитца...»

То был список «глухого пашпорта» — бойкий листок, вскоре запрещенный полицией.

Бетков и Ламбус выбрались на улицу.

— «...и бог бы ево спас и помиловал всех нас»,— донеслось из-за дверей.

*1 Куртаг (от фр. — cour — двор и нем. — Tag — день) — приемный день при дворе.*

*2 Царского Села.*

*3 Аманаты — заложники.*

4 *Шибай — бедовые ребята, воры.*

**2**

Трещали вымпелы. Их треск поднимал голубей с адмиралтейского бастиона. Нева то пучилась морщинистым свинцом, то в светлых ивернях разбрызгивалась до горизонта, пахла рыбой и морем, смотря по тому, какой ударит ветерок.

Федот Ламбус привел гренадера к зданию Академии. По дороге он завернул в кабак и напоил башкирца, заставив его платить и еще взяв два алтына в долг.

— Вот тут живем,— сказал он, указывая на недостроенный корпус, отведенный для академических служителей.— У меня-то еще и в Академии каморка есть.

Мадым взглянул на темные, в частом переплете окна кунсткамеры, позевал на башню обсерватории и перевел взгляд на реку. Она была широка. Здесь сильно отмыло берег, и вода подходила к самым стенам, где — единственное спасение от сивой, пищавшей, как тесто, грязи — лежал деревянный настил, так называемый *пешеход.*

Солнце ударило в стену башни, сместило ее, и Мадым потерял точку опоры.

— Ишь ты,— сокрушенно сказал он, глядя на размытый берег и сильно покачиваясь,— так ведь и вся здания повалиться может.

— И очень просто,— согласился Федот.— Ну, пойдем.

Они обогнули главный фасад и поднялись со двора в скудно освещенную галерею. Резкий визг стали и жужжание точильного колеса вырвались из распахнутых дверей. В полосе света мелькнула группа суетившихся учеников и грузная фигура мастера, вытиравшего масленые руки о кожаный фартук. Здесь помещалась механическая экспедиция, устроенная Нартовым — токарем, пожало­ванным за смышленость в коллежские асессоры и взятым в Академию к инструментальным делам.

Каморка ютилась под лестницей. Ламбус втащил гренадера, с казал: «Ну, отдохни»,— и толкнул его на койку. Тот вообразил с себя на учении и загорланил:

— Вынимай гранат!.. Вскуси зубом!.. Бросай!..

Лакей притворил дверь, снял картуз и, плеснув из таза на голову, слегка протрезвел и стал приглаживать прямые белые волосы. Тут зазвонил колокольчик, и Ламбус кинулся наверх, и кабинет.

Солнце шло перед окнами, но комната поглощала его без отдачи, тусклая вся — от серых обоев и фланелевых чехлов на стульях до оловянных чернильниц на столе. Не на чем было зажечься блеску; разве на зеркале и на низком книжном шкафе — «пуделе» — с гладкой верхней доскою; но и «пудель» и зеркало стояли в тени.

Шумахер сутулился в кресле. На лице его стыл подернутый пеплом румянец. Спиною к дверям стоял студент в потертом немецком камзоле, при шпаге, со свертком под мышкой. Трое академиков — Амман, Крафт и Делиль — сидели, разглядывая его.

Шумахер обращался к студенту, вытянув прямо перед собой большие, крепкие руки. Они лежали ладонями вниз, совсем как собачьи лапы, словно оберегая счета, протоколы и письма, хотя виновник этого мнимого беспокойства и не собирался на что-либо посягать.

— Мне известно,— говорил Шумахер,— о ваших поступках, не совсем, впрочем, похвальных. Но отнюдь не намереваюсь заниматься подобными пустяками, тем более что в науках успели вы основательно.

— Я изрядно усвоил химию,— отвечал студент,— металлургию и маркшейдерское искусство, а также распознавание рудных жил, *земель,* солей и вод. Кроме того, могу толковать другим физическую географию и механику. Обо всем этом я имел честь вам писать.

— Ого!.. Толковать другим! — вырывается у сухого, надменного Крафта.

Рыжий Амман и большелобый Делиль усмехаются. Шумахер смотрит на торчащего у порога Федота и говорит:

— Я уже позаботился. Сейчас вы отправитесь на свою квартиру... Дело для вас также найдено: вы будете переписывать каталоги минеральной коллекции. Господин Амман вам все изъяснит.

Амман кивает. Руки его на животе. Рыжее лицо в теплом крапе веснушек.

Студент наклоняет голову.

— Я всемерно буду стараться... Однако не извольте, ваше благородие, замешательств чинить в моем производстве.

Ледяные глаза округляются.

— Вы о чем?

— Когда я за море отъезжал, то было мне сказано, что ежели в известных науках преуспею и получу надлежащие свидетельства, то по возвращении своем званием экстраординарного профессора удостоен буду. И свидетельства и две диссертации мною представлены. Прошу господ академиков их рассмотреть.

— Куда с диссертациями! — восклицает Крафт.— И студент Теплов о том же хлопочет...

— Вы излишне торопитесь,— говорит Амман.— Мы труды ваши рассмотрим вместе с другими.

— Да, да,— ласково заключает Шумахер,— вам, конечно, повременить надлежит.

Академики шепчутся. В дверях громко зевает лакей.

— Федот! — раздается резкий окрик советника.— Ступай с господином студентом. Проведи его в бонновский дом и отомкни две каморки, что окнами на реку. Господин студент там будет иметь проживание.

— Ваше благородие! — студент все ниже наклоняет голову.— Еще я сказать хотел, что терплю по приезде крайнюю нужду, денег не имею нисколько и как пропитание себе добыть — не знаю.

— Деньги ныне редки в Академии,— со вздохом отвечает Шумахер.

— Деньги ныне редки,— зло повторяет астроном Делиль,— но господа Крафт и Амман исправно их получают.

— Это вас не касается! — вспыхивает Крафт.

— Но тогда кого же? Мне в течение года ничего не платят!

— Этому причиной ваши поступки,— цедит сквозь зубы Шумахер.— Карта путешествия Беринга явилась во Франции прежде появления в России, и есть основания думать, что это сделано не без вас...

— Или не без близкого *вам* человека. Библиотекарь Тауберт...

— Nicht so hoh! 1. Прошу вас! Вы не на обсерватории!... Федот! Ступайпроводи господина студента... Что до вашей просьбы, я, к прискорбию, вынужден отказать...

Студент и лакей вышли. Отойдя от двери, Ламбус ухмыльнулся и проговорил:

— Беспорядится у них завсегда. Иной раз дойдет — в зеркало палками так и шибают...

Они спустились по лестнице. Лакей шмыгнул в каморку взять картуз и взглянуть, как себя ведет гренадер. Убедившись, что спит и буянить не собирается, вышел, плотно притворив дверь, и направился во двор. Студент следовал за ним, держа шляпу под мышкой и вытирая платком круглое, бабье лицо. Он только сейчас заметил, что беседа с советником вогнала его в пот и в краску.

Они вышли на набережную. На воде покачивался щеголеватый бот, выложенный тюфяком с желтыми пушистыми' кистями. Два гребца в зеленых кафтанах ели лук, запивая прямо из горсти Невой.

— Эй, на боте! — крикнул Федот.— Притолкнись-ка к берегу! — И, прыгая на банку, прибавил: — Неохота идти по зною. Прямиком в бонновский дом!..

— Ты кто ж таков? — обратился он к студенту, когда бот рванулся, круто разваливая воду.— Прежде объявили, что те каморки приезжему господину Ломоносову достанутся, а ныне тебя туда везу. Почему так?

— Я и есть Ломоносов.

— Прости, ваше благородие, не признал. Уж больно вы за мужика сходны.

— Дурак! — смеясь, сказал Ломоносов, толкая Ламбуса локтем.— Сего в беседе не говорят... А ты кто? Сторож? — спросил он, присматриваясь к галунам ливреи.

— Лакеем у советника Шумахера. Двадцать четыре рубля в год получаю. Нас, ливрейных, при нем четверо состоят.

— За перевоз платить надо? — вдруг встревожился Ломоносов и посмотрел на реку, словно собираясь сбежать на середине дороги.

— Не-ет... Бот Шумахеров. Не сказывайте только, что в нем по реке катались.

— А вода не Шумахерова? — обозлился Ломоносов и перегнулся через борт — пить...

Недостроенный мост через Малую Неву упирался одним концом в Пеньковые амбары и приходился наискосок купленному у генерала Бонна дому, при котором Академия имела свой «ботанический огород».

Дом был деревянный, на каменном фундаменте; красная гонтовая кровля горела на солнце. Слуховые окошки и карнизы столярной работы делали его нарядным, а наверху красовался затейливый шпиль.

Они высадились и вошли в заросший травою двор. На крыше сарая стоял желтый жилистый немец в панталонах и ночном колпаке, задрав кверху лицо с больными, красными веками. На горле у него прыгал кадык. Немец гонял длинным тонким шестом голубей, и воздух был полон разрывчатым треском поднятой стаи.

Лакей указал Ломоносову на человека с шестом и шепнул:

— Это, ваше благородие, садовник, он же и церковный староста в кирхе на острову. Ежели вам когда деньги занадобятся, так он ссужает.

Сбегав за ключами, он повел Ломоносова в дом. Они прошли через светлую, но полную чада и детей кухню. Толстая, вся в бородавках, стряпуха оставила свои горшки и уставилась на нового жильца, потом она прикрикнула на детей и тоже поплелась по коридору.

Ламбус отпер дверь, и Ломоносов увидел свое жилье. Две крохотные, соединенные одна с другой, каморки были обиты шпалерами, сильно отставшими в углах у бело-зеленых кафельных печей. В одной комнатушке стояла кровать, в другой — стол и два стула. Окна смотрели на реку, и в них яснели — редкость по тем временам — чистые ямбургские стекла.

Ломоносов бросил на койку шляпу и сверток и сел на обтянутый трипом стул.

— Ну вот,— сказал Ламбус, надвигая на глаза картуз.— Тут вам учиться в самый раз... Господину советнику, что в его боте ездили, не говорите... Покойного проживания желаю!

И вышел.

Ломоносов уперся руками в колени, надулся и, приподняв плечи, устремил в угол тяжелый, собранный взгляд. Так он сидел долго. Солнце переползало через него. На лицо садились мухи — он не отгонял их. К дверям подходили; шаги то затихали, то приближались, и наконец-то кто-то остановился в самой близи. Ломоносов вскочил, распахнул дверь и носом к носу встретился с человеком, гонявшим голубей; из-за его спины, улыбаясь, выглядывала бородавчатая стряпуха.

— Академический садовник! — произнес немец, кланяясь, и при этом кадык его выпятился и исчез.— Моя жена — Амалия... Gott segne Ihren Heim! 1. — И, поклонившись еще раз, протиснулся через порог.— Иоганн Филипп Штурм... Не нужны ли вам деньги?..

*1 Не так высоко! (нем.)*

*2 Господь да благословит ваш кров! (нем.)*

**3**

— Каталог минералов надлежало вам переписать до коллекции янтарей.

— Девяносто страниц мною уже переписано, господин Амман.

— Тогда употребите свое время на перевод статьи для при­ложений к «Ведомостям».

— Статья также мною переведена, господин Амман.

— Торопливость может стать для вас причиною многих досад. В Академии не имеют обыкновения спешить.

— Диссертации мои четвертый месяц рассматриваются. В сем обыкновении я хорошего ничего не вижу.

Профессор натуральной истории улыбается и складывает руки на животе. Рыжее лицо его освещено теплым крапом веснушек.

— Зато о вас хорошо отзываются при *дворе.* Ода ваша написана весьма искусным штилем.

Ломоносов пожимает плечами.

— Писание од за обязанность свою почитаю, и притом нелегкую, особливо ежели кого вневолю славить придется. В Марбурге студентам за похвальные стихи по таксе платят, отчего их стихотворство в великую скудость пришло.

— Не советую вам так рассуждать,— поспешно говорит Амман,— подобные мысли бывают от праздности. Ступайте лучше и Академию на лекции...

Ломоносов смотрит ему вслед, снимает с гвоздя епанчу и шляпу и тихо произносит сквозь зубы:

— Я в Академию и без твоего позволения пойду!..

Он — и переводчик, и писчик, и сортировщик пахучей травяной трухи, которою завален тихий Боннов дом, а об определении «в профессоры» и не слышно.

...Всего хуже, что жалованья нет. Живи как знаешь. Садовнику должен шестьдесят пять рублей... Каталоги переписал небрежно, но Амман доволен,— видно, в Академии и хороших переписчиков нет... А ода, значит, понравилась... «Веселящаяся Россия», к ножкам императора взывающая: «В Петров и Аннин след вступите!..» Но ежели в Аннин, то и в Биронов, а тогда, почитай, в крови увязнешь. Впрочем, о Бироне не помыслят, ведь он в ссылке... Так понравилась ода? Только на это и надежда. Пожалуй, учуют немцы, рассмотрят труды — произведут...

Он открывает дверь в коридор, куда проникает запах трав из комнаты, заменяющей оранжерею, быстро проходит мимо каморок Аммана и Штурма и, выйдя за ворота, плотно запахивается в епанчу.

Низкие, холодные облака взбиты ветром над Малой «проспективной»; дождь со снегом заштриховывает ее, не позволяя распознать прохожих, догадаться, что эти вот двое идущие навстречу — земляки, поморы,— с ними видался на бирже месяца три назад.

— Путем-дорогою здравствуй! — в шутку по-морскому приветствуют они его.

И Ломоносов, обрадованный, отвечает:

— Здорово ваше здоровье на все четыре ветра!

— А нам тебя-то и надо... Вести тебе привезли, худые вести, Михайла...

По внезапному толчку в груди он догадался:

— Отец?..

— Утонул Василий Дорофеев. Пошел в море и не вернулся. Нашли мы его в диком месте. Как заплыли туда, а там-то всюду ловецкие могилки... Да он и летами, поди, уж шибко забрался, а все на промысел ездил. Бывало, волна так и рыдат, пену несет в море страшенно. Ну, и погинул Василий Дорофеев. Схоронили его с честью на острову.

Ломоносов стоял без шляпы. Паричок его намокал; снежная крупа лежала на нем не тая.

— Подушные за тебя, за беглого, из мирских денег платим,— проговорил земляк и переменил речь: — А епанча-то у тя в окошках. Эк обносился!

— Пустое! — еще думая о другом, ответил Ломоносов и надел шляпу.— Вся Академия стоит дырява и едва дыхание имеет. Не в епанче толк!

Дождевой выхлест обдал их из-за угла, с визгом понесся вдоль линии, и крутой кипяток заплясал в лужах.

Они разошлись. Их словно разорвало ветром. Он бил в лицо, залетал сбоку, гнал вперед.

Рвались последние нити. Уходили навечно Кур-остров, Хол-могоры.

...По Денисовке шли люди, говорили: «Вот здесь жил Василий Дорофеев...»

Жирный чугунный орел сидел на ограде. Земля отдавала сырую, едкую горечь. Всюду — следы недавних пожарищ — чернели пустыри.

Дрожки обогнали его, забрызгав грязью. На спине извозчика блестел жестяной номер. «Дурак придумал!» — обозлился Ломоно­сов и зашагал, не обходя колдобин, все напрямик, по воде так по воде.

**4**

При Академии — гимназия.

Утверждают, будто имеется и университет.

Если же подать нижайшее доказательство, что такового нет, можно поплатиться...

Гимназия *производила* студентов. Их отправляли на лекции. На двенадцать профессоров — двенадцать студентов, это — университет. Профессорам, «чтоб не оставались праздны», посылались ученики без разбора предметов — для одного *занятия места,* но те отгуливали по месяцам.

Академия!

Она пошла от кунсткамеры, от проспиртованных, скрюченных в банках уродов, от кабинета легенд и нелепостей, от «двух собачек, которые родились от девки шестидесяти лет»...

Канцелярия, караул занимались делом. Остальное было *зиянием.* Вел хозяйство несокрушимый Шумахер. Вызванный в Россию при Петре, определенный библиотекарем и смотрителем кабинета «монстров», он проявил неутомимую деятельность: «будучи в науках скуден, укрепился при дворе приватными услугами», писал за границу посланникам о петербургских новостях; завел типографию, гравировальную и рисовальную палаты. Не считался с издержками. Украшения кунсткамеры производились по его указаниям. Из Академии выходили: фейерверки, иллюминации, подносные экземпляры книг, оды.

Все было в порядке. То, что она стоит дырява, еще требовалось доказать.

Заседала профессорская конференция. Сонные сторожа слонялись по коридорам. Ломоносов, миновав ряд пустующих лекционных комнат, прошел в канцелярию. Там, обступив переводчика Горлицкого, волновались копиисты. Переместив столы, беспорядочно сдвинув стулья, горланили студенты: Попов, Чадов, Коврин, Шишкарев. Возвышаясь над всеми, молча следил за про­исходящим рослый Нартов. Непревзойденный мастер токарного искусства, грузный, с лицом в седоватой синей щетине, он казался чугунным; темные глаза его живо блестели, глубоко вдавленные под упрямым лбом. Нартов стоял, расставив ноги, сжав костистые кулаки, на которых в зеленые веточки жил была впутана татуировки. Горлицкий, тощий, заморенный, кричал, вытянув шею, как голодный галчонок. Голос его звенел от обиды. Все это походило на бунт.

— Есть при Академии университет? — плакался переводчик.— Славные науки процветают ли?.. А как тому быть, если ученым людям вход в конференцию воспрещен?.. Нам с Ильинским и Сатаровым Шумахер стулов не дал садиться!.. А как мы не захотели при профессорах стоять, то он нас из конференции взашей выбил!

— Это что! — крикнул бледный, большеротый Шишкарев.— Меня в ту пору, как Ломоносов за море собирался, Шумахер батогами наградил. За бранные слова.

— Не брани немцев! Им и содержание двойное против русских.

— Академический *псарь* Фридрих за стреляние птиц двести рублей в год получает.

— Академия и без сего псаря состоять может, а он определен для того только, чтоб дать ему место и пропитание...

И пошло... И пошло...

Сухой серебристый снег летел над домами в солнечном блеске. Решетчатой тенью стлался по полу оконный переплет.

Текли жалобы. Сидел на столе Ломоносов, слушал, насупясь, вытянув губы и болтая ногами. Продолжал хранить молчание Нартов и медленно, как великую тяжесть, поднимал костистый кулак.

Текли жалобы:

— Из русских нет еще ни одного профессора! — надрывался Горлицкий.— Шумахер не хочет *открыть* науки!

— Приласкает к себе младших профессоров да натравит их на старших и делает вид, якобы он — отец юношеству.

— Тауберта по свойству унет-библиотекарем определил!

— А для чего? Чтоб им с книгопродавцем Прейсером казну способней расхищать было.

— Про Тауберта ж говорят, что он, приходя в канцелярию, берет письма большими связками и носит к себе наверх, в третий департамент, а оттуда выносит через сторожа Данилова...

Бац!

Кулак Нартова опустился. По столу, заливая сукно, жирно поползли чернила.

— Полно вам! — раздался хриплый его голос.— Донос писать надо! Горлицкий! Садись, составляй записку, пиши!

— Да что, Андрей Константиныч, по-пустому писать? Подавать-то кому? Немцам?

— Там увидим,— загадочно произнес Нартов и стал диктовать пункты: — «О непорядочных поступках — раз... О расхищении казны — два... О пренебрежении учения российского юношества — три... Он-де, Шумахер, явное имел на Россию скрежетание...»

— Кто ж так пишет, что-де имел скрежетание? — презрительно перебил Ломоносов и рассмеялся.

— Я пишу! — огрызнулся Нартов.

Но тут в коридоре началось движение. Захлопали двери. Конференция отзаседала, и доносители заметались и прыснули кто куда...

Прихватив локтем папку с бумагами, развернув сутулые плечи, вкатился в канцелярию Шумахер. Его сопровождал стихотворец и профессор аллегории Штелин, бывший воспитатель великого князя Петра Федоровича и, по слухам, более служивший ему вместо шута.

Это был человек веселый, с очень смуглым лицом, угловато оттянутыми книзу веками и теплыми, маслеными глазами под косматой птицей бровей.

— Господин Тредьяковский хорошо подвигается в своем переводе,— говорил он, нагибаясь к плечу советника.— Третий том Ролленевой «Истории» уже был бы закончен, когда б не новое пожарное приключение.

— О, есть поговорка,— с улыбкой отозвался Шумахер,— кому суждено повешену быть, тот не утонет. Но господина Тредьяковского поистине преследует огонь...

Возня и шум за дверьми. На пороге, оттесняя друг друга, желая каждый пройти первым,— Делиль и Гейнзиус. Большой бледный лоб Делиля в спутанной седине, перечеркнут ссадиной. Маленький Гейнзиус разъярен и сучит кулаками. За ними, тяжело, с одышкой ступая, появляется тучный Винсгейм.

— Что случилось? — насмешливо спрашивает Шумахер.— Почему вы не изволили быть на конференции?

— Я чинил наблюдения, а что чинил профессор Гейнзиус, то, полагаю, *вам* лучше известно. Вы научаете его всячески оказывать мне непочитание. Советуете обнародывать наблюдения прежде меня...

— Я секстант стенной измерял, а профессор Делиль его из моих рук вырвал...

— Ему измерений делать не надлежало!

— Он меру деревянную изломал!

— А он собрал куски и бросил в меня!

— Пусть академическое собрание судит об этом.— И Шумахер резко отворачивается от обоих.— Господин Винсгейм, вы имеете мне что сказать?

— Я буду требовать *абшида 1.*' — кричит Делиль.— Мне нет возможности здесь оставаться!..

Он вскидывает головой и выходит из канцелярии. Становится тихо. Зло усмехаясь, следит за всем Ломоносов. С притворной старательностью водят перьями копиисты, и тяжело дышит астро­ном Винсгейм.

— Прошу... уволить меня...— говорит он прерывисто, ловя ртомвоздух.— Мне за тучностью корпуса никак нельзя ходить на обсерваторию.

— Это прискорбно.

— И к тому же быть свидетелем ссор и драк я не желаю.

— М-м... Тогда примите на себя труд изучения *темных часов Оля полиции,* то есть в которое время в Петербурге засвечать и гасить надлежит фонари.

Астроном выходит. Ломоносов косым крупным шагом направляется к Шумахеру.

— Ваше благородие не станете возражать? Я намерен подать в Академию наук предложение.

— Какое же?

— Об учреждении химической лаборатории.

Шумахер молчит. Гейнзиус меряет Ломоносова взглядом.

— Я мог бы трудиться для пользы отечества.

Молчит Шумахер.

— И еще: я Академию наук многократно об определении своем просил.

— Диссертации ваши сегодня рассмотрены. Вы можете быть совершенно довольны.

Какой славный день! Как ясны контуры всех вещей в канцелярии и что за милый старик! Даже уши его, мертвые, серые, начинают розоветь на свету.

— Все те, которые желают получить свидетельства о своих успехах, должны явиться к экзамену.

— Что-о-о?!

Серый, безрадостный туск на вещах и лицах. Пол плывет под ногами.

— Господин советник! Я имею аттестаты от Вольфа и Дуйзинга!

— Таково определение конференции. Я вам более ничего сказать не могу.

*1 Abschied — отставка (нем.).*

**5**

Маркиз де ля Шетарди ввез в Россию шампанское. Цесаревна Елизавета Петровна вступила на престол. Бироновщина нарвала и лопнула. Ее прямых наследников — Остермана и Миниха — поминали в проповедях «яко эмиссаров дьявольских, влезших в Россию» («Оттого-де и несчастливы мы и учения у себя завесть не можем»). На гулянье под качелями солдаты избили офицеров-немцев. В Академии наук, как наливное яблоко, спел донос...

Было как бы два Ломоносова. Один — в Петербурге, другой — все еще «за морем». На обоих от Статс-конторы испрашивались деньги, но ни один их не получал.

Зато ему дали «адъюнкта». Минуя профессорское собрание, он подал прошение в Кабинет и был произведен. Его допустили приватно давать охотникам наставления в химии, натуральной истории, а также в стихотворстве и штиле. Охотником оказался один студент.

Не было дела, друзей. Были тупая тоска, стиснутые зубы, одиночество. Об оставленной жене старался не думать. Писать через посланников не хотел, чтобы не возбуждать толков,— никто ведь еще не знал, что он женат.

Академики стояли стеною. У этого русского была слишком своя походка. Он переводил оды. «Ломоносов бесподобно успевает в своих переводах,— говорил Шумахер.— Когда б только не было у него одного недостатка, от него можно было бы ожидать много хорошего». Он пил. Академики стояли стеною. Им было ясно: мужик, заносится и соблюдает свой интерес...

— Er hatte gesagt, das er tnir Arm entzwei entschlagen und also ein Ende auf mir machen will!.. 1.

Желтый жилистый немец вбежал в профессорское собрание.

— Was ist geschehen, Herr Sturm? 2

Академики и Шумахер поднялись ему навстречу. Только Рихман, молодой молчаливый профессор, продолжал спокойно листать «Ведомости». Садовник, наклонно пролетев в стенном тусклом зеркале, выпятил кадык и забормотал:

— Были у меня в гостях книгопродавец Прейсер, типографщик Биттнер и лекарь Брашке. Шел у нас разговор о книжной лавке, а господин Ломоносов, не знаю, с какого умысла, подслушивал в сенях. И служанка моя стала его отгонять, а он пришел в горницу и говорил, какие нечестивые гости у меня сидят, что епанчу его украли. И лекарь Брашке ответствовал, что ему, адъюнкту, таких речей говорить не надлежит, и Ломоносов его в голову ударил, и, схватя болван, на чем парики вешают, начал всех бить, и двери рубил шпагою, и жену мою чреватую (которая ходит беременна) называл к...вою, чем ее до смерти напугал...

— М-да,— озабоченно произнес Шумахер,— у господина Ло­моносова голова еще полна разнородных паров, которые его сильно беспокоят.

— Но и других также... Этого нельзя оставить! — заметили Крафт и Штелин.

А садовник продолжал:

— Я караул кликнул, чтобы Ломоносова забрали на съезжую, но, придя, застал гостей своих, битых, на улице. А жена моя от него в окошко выскочила и лежит больна.

— Прежде времени его адъюнктом сделали,— проронил Гейнзиус, и все подхватили:

— Он и в Германии в драках являлся.

— Ас какою гордою осанкою расхаживает!

— И притом за все хватается: за химию и за предметы физического класса.

— Профессору Винсгейму говорил с бранью, что-де календарь сочинит не хуже его...

— Herr Sturm! — решительно обрывает Шумахер.— Вам надлежит подать в полицию объявление. Я скажу переводчикам. Ступайте за мною.— И, ссутулясь, пружинистым, быстрым шагом идет в коридор.

Они сталкиваются с Ломоносовым, который с излишней торопливостью дает им дорогу и, насмешливо улыбаясь, входит в залу. Лицо его вздуто, один глаз заплыл. Он хромает. Академики не отвечают ему на поклон и покидают собрание. Один только Рихман приветливо кивает из своего угла.

— Смеху достойно, примечания и смеху достойно! — говорит Ломоносов, садится за стол против Рихмана и прикрывает ладонью запухшее веко.— Я, впрочем, за честь почитаю быть опорочен неправо... Плакался тут садовник? Я-де его гостей изувечил? Да семеро одного не боятся. И меня не забыли, так что и в грудях лом, и колено пухнет, и кровью плюю.

— С чего это у вас вышло? — спрашивает Рихман и смотрит ясными стальными глазами. Щеки его в рыжей проступи пятен, а под кожей на бугристо-развернутом лбу все катается какой-то тонкий клубок.

— Казнокрады!.. Я всю их беседу слышал. Прейсер с Биттнером от книжного торгу карман набивают, несут деньги Штурму, а тот в рост отдает.

— Берегитесь! Шумахер и профессоры вами весьма недовольны.

— А он, советник, главный у нас вор и есть. Что до господ профессоров, то мне их, право, иной раз жалко станет. Целый год жалованья не получают. Академики! Да ведь пришли в убожество: дров и свеч не имеют на что купить!

— Да, науки в небрежении находятся...— подтвердил Рихман и вдруг оживляется: — Меня вот електрическая сила более всего занимает.

— И меня тоже. Особенно — не одинакова ль материя молнии с тою, которая от простого трения происходит.

— Я уже намеривался опыты чинить, да стеклянных шаров достать нельзя.

— А я о флогистоне писать собрался,— ведь это огненное вещество химик Сталь выдумал, и оно не более как пустая басня...

— А я — о пневматическом насосе и рассуждение о пчелах в печать сдал...

Что-то ребяческое в этом размене, в том, как они перебивают друг друга. Но это прорвалось, это — от редкой минуты покоя, оттого, что не надо грубить, драться за место,— не от хвастовства.

Они сидят за столом, где застыли оползнем пухлые от скандальных записей протоколы, адъюнкт и профессор, повторенные в узких стенных зеркалах.

Высокие дуги окон расчерчены переплетом, как в каземате, и зеленое поле стола нагрето солнцем и расчерчено в клетку на косо сдвинутый ряд.

— Голова моя много зачинает...— говорит Ломоносов.— Диссертацию о металлах пишу...— И закрывает ладонью обведенное тенью место.— Корпускулярную теорию...— И рука его заполняет новый квадрат.— О всеобщем законе думаю, по которому ежели к одному телу что прибавится, то столько ж отымется от другого... О явлениях воздушных... О причинах тепла и стужи... (Хватит ли клеток?..)

И обводя заплывшим глазом пространство, пробитое световыми столбами:

— Голова моя много зачинает, да руки, Рихман, одни!..

*1 Он сказал, что руку мне переломить хочет и таким путем конец надо мною учинить!., (нем.)*

*2 Что случилось, господин Штурм? (нем.)*

**6**

«Какой приятный Зефир веет»,— писал Ломоносов и ощущал подлинный ветер удачи. Ветер кружил и возвращался, горячил слухами об успехе оды, делал осанку одописца все заносчивей и все более презрительным его лицо.

Он подул для многих, «приятный зефир», и прежде всего для обитателей корчмы на старом тракте, ведущем в Чернигов из Козельца. Ее содержала казачья вдова Наталья Розумиха. Дети ее — Алексей и Кирилл — были пастухами.

Кирилл еще ходил в чабанах.

Алексей, взятый ко двору певчим, был замечен Елисаветой в бытность ее цесаревной. Начался *случай*1., и теноровая магия статного казака закрепостила несколько тысяч душ крестьян.

Алексей не забыл брата. Кирилла отправили для обучения за границу «под смотрением и водительством» адъюнкта Теплова, способного жесткого человека, всегда державшего сторону Шу­махера, который отлично его рекомендовал.

Но вот «зефир» перемещает силы в Академии.

Подан донос. Арестован Шумахер, Нартов назначен советником канцелярии. Наступила трудная для Академии наук пора.

Не было жалованья. Оно выдавалось «Уложением царя Алексея Михайловича», экземплярами «Грациана, придворного человека», хотя им не пообедаешь, «Грацианом, придворным человеком», да и не так легко эти книги продать.

Нартов растерялся. «Надо всякой науки по одному профессору оставить,— писал он Сенату.— Почетным членам не выдавать пенсий; сократить художнические палаты... Приказать служащим гражданским и военным по всему государству: покупать в Академии книг с каждой сотни дохода на 5—6 рублей...»

Доносители ликовали и этим проваливали дело. С шумом приходили на профессорские собрания, по глупости опечатали невинный архив. Академики не сдавались, требовали от Нартова, чтоб он, обращаясь к ним, подписывался: «Вашего благородия слуга покорный», и просили не забывать, что «канцелярия — хвост, а конференция — глава»!

— Он ничего, кроме токарного художества, не знает,— говорил Крафт, разглядывая себя в зеркале конференц-залы.— Нужно только надеяться, что этот человек недолго будет нами управлять.

— Я позабочусь об этом,— отвечал историограф Мюллер, только что вернувшийся из Сибири, румяный крепыш с налитым затылком и мясистым лицом, испещренным кровяными жилками.

Его товарищ по путешествию, натуралист Гмелин, беседовал с Рихманом, кашляя и щуря больные, водянистые глаза.

— У меня в экспедиции,— обращался Мюллер к профессорскому собранию,— был студент Крашенинников, и я его всегда *под батожьем имел.* Несчастье наше оттого, господа, происходит, что вы дали над собой волю людям не знатным ни родом, ни званием. Но, полагаю, все разъяснится, как только истина достигнет двора.

— Однако кунсткамера и книжный торг опечатаны,— заметил Штелин,— и еще неизвестно, чем кончится следствие. Господина Шумахера ожидает суд.

— Комиссия не из *подлых* 2.особ состоит! — и рот Мюллера дергается, открывая ровные синеватые зубы.— Ее величеству уже донесли, что Нартов не обучен иностранным языкам да и писать и читать не умеет. Наглость доносителей обратится на них самих.

Винсгейм, обложенный ландкартами и грудой конференцеких журналов, разводит руками:

— В академических делах полная остановка из-за того, что архив опечатан.

— Благодарите Ломоносова! — вставляет злой, взъерошенный Гейнзиус.

— Ломоносова? — переспрашивает Мюллер.

— Да ведь он же, якобы по указу ее величества, явился сюда с товарищами и, ожидая найти в письмах архивных великие тайности,опечатал их так, что ни лоскута вынуть нельзя.

— Как же вы допустили?

— Не вступать же с ним в драку. Он еще и о разных вещах говорил ругательно: что профессора напрасно себя утруждают и так много дела имеют, что господин Винсгейм мог бы генеральной карте России несколько покою дать...

— И вы все это *так* оставили?

— Ломоносов уже исключен из конференции, но он, кажется, еще не знает об этом...

Нет, он знал, потому что, появившись в эту минуту в дверях, стоит, нагнув голову, как бык, готовый зарыться рогами в землю. Не снимая шляпы, идет он к столу и останавливается перед креслом Винсгейма.

— Mit dem Nut auf dem Kopfe! 3.— восклицает Крафт.

И тут наступает тишина.

Винсгейм тяжело поднимается с едва заметным поклоном.

— Не извольте трудиться! — насмешливо говорит адъюнкт.

— Я и без вашего позволения сяду. Мне только нужно сказать господину Ломоносову, что господа профессоры не желают его более видеть. А ежели он бесчинствовать не перестанет, то можно будет сыскать способ вывести его вон!

— Вы меня полгода в адъюнкты пускать не хотели, а теперь вон высылаете?! А ежели господин Ломоносов скажет, что советник Шумахер вор, а все вы плуты?!

— Пишите! — шепчет Винсгейму Мюллер.— Записывайте все, что он скажет.

— Ja, ja, schreiben Sie! — кричит Ломоносов.— Ich verstehe so viel, wie ein Professor!.. Spitzbuben seid ihr und Hundsfotter!.. Und bin ein Landeskind!..4

Винсгейм задыхается и падает в кресло, таща покрывающее стол сукно. На пол летят перья, песочница, колокольчик.

— Разбой! Надо позвать караул! — раздаются голоса. Ломоносов хохочет, звонко ударяет в ладоши и складывает пальцы в большой, крепкий шиш; несет его через всю залу и проходит в Географический департамент.

— Мужик! — бросает ему вслед Штелин.— Ставить кукиши и приходить в шляпе в залу!

— Ну-ну-у! — произносит Гмелин. А Гейнзиус прибавляет:

— Ни в одном из иностранных государств такого ругатель­ного примера не бывало!

— Герард Фридрих! — обращается к Мюллеру позеленевший Крафт.— Вы хвалились, что имели Крашенинникова под батожьем. Однако, когда дошло до дела, не изволили сказать и слова.

— Георг Вольфганг! — отчеканивает историограф.— Я полагал, что самое лучшее — не мешать такому человеку говорить. Но теперь мы это запишем... Господин Винсгейм, позвольте мне ваше перо... Сначала мы все перечислим, а затем заключим так: «Высокоучрежденную комиссию всепокорнейше просим оного Ломоносова арестовать и повелеть учинить надлежащую сатисфак­цию, без чего Академия более состоять не может...»

Его арестовали лишь после того, как он подал в комиссию «нижайшее доказательство», требуя отставки Шумахера, преобразования канцелярии и учреждения университета с правом производ­ства ученых степеней.

«Позорная немецкая брань» и «доказательство» сделали свое дело. Сыграли также роль особенности стиля: Шумахер на допросах острил: он-де на Россию «скрежетания» не имел и не «закрывал» науки. Дело представилось как простой бунт «подлого звания людей».

Комиссия заседала долго. Наконец определила:

Доносителей — бить кнутом.

Ломоносова — держать под арестом.

Шумахеру — быть у Академии по-прежнему.

Нартову — возвратиться к своим станкам.

*1. Неожиданное возвышение и самое время его продолжительности. Говорили: «Это было в случай Разумовского, Шувалова» и т. д.*

*2 На языке господствующего класса в России XVIII столетия «подлый» — низшего сословия, простой.*

*3 В шляпе! (нем.)*

*4 Да, да, записывайте! Я знаю столько же, сколько и профессор!.. Мошен­ники вы и сукины дети!.. И я природный русский притом!., (нем.)*

**ГЛАВА ПЯТАЯ**

**ГОТТОРПСКИЙ ГЛОБУС**

Несколько лет тому назад в Риме издано спасительное постановление

для уничтожения опасного соблазна в наше время.

Этим постановлением запрещается мнение пифагорейской школы о вращении земли.

*Галилей*

**1**

— Собрание уродов составляет презнатную часть нашего кабинета...

Советник Шумахер скользил впереди посетителей по лощеному полу библиотеки, нарушая своей болтовней умное молчание книг.

Парчовый парад корешков, их стройное великолепие были обманом: книги стояли разделенные лишь по состоянию переплетов и по формату. Свет ниспадал на них через верхние окна над хорами, освещая до мелочей щеголих в хрустящих крахмальных робронах и франтов в тяжелых камзолах и осыпанных мукой париках.

— Любезнейшие зрители! Вы изволили вступить в кунсткамеру... Здесь имеются: выделанная человеческая кожа великана, галерея монстров, или уродов, требующих постоянного налития спиртом, и среди них — две собачки, которые, как значится в росписи, родились от девки шестидесяти лет.

— Ах, уморил! — раздается возглас.— Но человеческая кожа! Это ничуть не славно!

— Пугаться не следует,— мягко возражает Шумахер. И скользил далее.

— Здесь вы видите окаменелый хлеб, который государь Петр Великий привез, оставив взамен в музее Копенгагена русские лапти... Затем — к чему любоваться на чужестранных птиц, когда Российская империя предлагает нам таких, коих природа красивостью не менее украсила? Разве не диво — эта совсем белая ворона и белые воробьи? А взгляните на тех злато-зеленых степных куликов и синих тростяных дятлов... Из того вон угла на вас смотрит собрание мамонтовых костей. Название это происходит от татарского слова «мама» — земля, что побудило народ сибирский выдумать басню о живущем под землею звере мамонте...

— Любезнейшие зрители! — торжественно улыбаясь, объявляет Шумахер.— Сейчас вы увидите самое примечательное. Прошу вас проследовать в новый покой...

Бока огромного шара вздуваются под косым сумрачным сводом. Карта земли масленится, искусно исполненная пером и красками. Откидная железная лесенка придвинута к шару, и распах­нута настежь ведущая вовнутрь дверь.

— Вот он, славный готторпский глобус! — говорит советник.— Он выстроен под смотрением Адама Олеария и прежде находился в Готторпском замке. Государь Петр Великий получил его в дар от Голштинского герцога. Чтобы доставить глобус сюда, пришлось прокладывать дороги, вырубать леса, наводить мосты. Он сделан из меди, имеет в поперечнике одиннадцать футов и обращается вокруг оси с помощью водяного механизма. Внутри его имеется стол на двенадцать персон и небо с обозначенными через позолоченные гвозди звездами... Итак, любезнейшие зрители, входите, входите! Я покорнейше прошу извинения, мне неотложно надо спешить на конференцию, но профессор Делиль уже ожидает вас, так сказать, посреди небесного свода. Он приведет машину в действие и все изъяснит...

**2**

— В чем сила доказательств ваших, господин Ломоносов?

Винсгейм заносит в журнал. Адъюнкт подает диссертацию. Профессорское звание! Оно стоит рядом, его можно достать рукой.

Щурит глаза и дергает плечом Гмелин. Оттопырив ладонью ухо, теснит Рихмана желчный Сигезбек. Переглянулись Мюллер и Гейнзиус. Собрание ощетинилось. Шумахер бросил на стол большие, крепкие руки, вытянул их, как собака лапы, и ждет.

— В рассуждении флогистона,— говорит Ломоносов,— я полагаю: довольно известно, что обожженный свинец уменьшается массою и увеличивается весом, и того никак быть не может, чтобы привес происходил от материи огня.

— Тогда от чего же? — ехидно спрашивают Мюллер и Гейнзиyc.

— Окалина не иным чем является, как металлом, вступившим в связь с воздухом.

— В чем сила доказательства вашего?

— Делал я опыты в заплавленных накрепко стеклянных сосудах и оными опытами нашел, что мнение славного Роберта Бойля 1. ложно, ибо без пропускания воздуха вес сожженного свинца остается в одной мере...

— И вы хотите сказать...

— Что флогистон или огненная материя — не более как пустая басня, которую изрядно выдумал химик Сталь.

— В чем сила сомнения вашего? — советник обращается к Гейнзиусу.

— Он высказывает взгляды, противоположные принятым.

— Это неслыханно! — взвивается Сигезбек.— Диссертацию нельзя принять в таком виде!

— Пусть переделает заново!

— И о флогистоне все вычеркнет!

Только Рихман молчит. На его бугристом лбу катается тонкий клубок.

Поднимается Гмелин; он дергает плечом, щурится, кашляет.

— Хотя в слышанной мной диссертации и усмотрены крайности, но я собранию объявить намерен, что профессию химии господину адъюнкту совершенно уступаю, понеже он по успехам своим того достоин, а я к тому же в отечество свое ехать хочу.

— Нам придется ждать,— отвечает советник,— пока мысли господина адъюнкта не станут порядочней.

Адъюнкт усмехается:

— Или пока за морем не обнародуют мыслей моих прежде меня?

— Вы думаете, идти против всего ученого света — это по­хвально?

На высокой горе стоит Ломоносов, ему кажется — он видит отдаленные гребни.

— Это будут в песнях петь! — говорит он заносчиво.

— Nicht so hoh! Академия певчих не производит! — раздражается Шумахер.— Признаете ли вы, что допустили ошибку?

Профессорское звание! Его уже не достать рукой, оно уходит все дальше... Адъюнкт краснеет, колеблется...

— Производства не будет,— объявляет Шумахер.— Собрание закрывается!

Ломоносов склоняет голову и с внезапной легкостью произносит:

— Диссертация будет исправлена. Господа профессоры, и признаю, что поступил опрометчиво.

— Вот как?

— Я обещаю впредь не утверждать ничего подобного. Этого не будут петь в песнях.

Ветер, скверный, пронзительный ветер сносит его с горы.

*1.Бойль—физик, химик и богослов (1627—1691); вскрывал свои реторты перед взвешиванием.*

**3**

— Сия машина есть целый свет, то есть небо и звезды, которые в нем движутся. Мы — наблюдатели движения небесного — находимся как бы в середине света, хотя в действительности этого нет.

Славный готторпский глобус — в действии. Десять человек сидят за столом. Профессор Делиль дает пояснения. Багряное небо со скрипом плывет с востока на запад, текут медные звезды, освещенные из круглой дыры наверху.

— Вот движение вседневное, в двадцать четыре часа происходящее. Перед нами — восхождение звезд, прохождение их через полуденник и захождение. Вот созвездия: блистательный Орион... Персей, устремляющийся к Плеядам... Вон Лев пожирает Рака, а вон Рак ущемляет Близнецов...

Ломоносов выходит из залы профессорского собрания. Лицо его в пятнах, шаг тяжел и отрывист. Взятая для исправления рукопись скомкана и вжата в карман.

Он несется по коридорам, по лестнице. Без цели — из этажа в этаж. Двор. Подъезд соседнего здания... Библиотека... Подъем на обсерваторию... Вбегает в кабинет редкостей, проходит мимо скрюченных, розовеющих в банках уродов.

— Монстры!..— говорит он злобно и показывает уродам кулак...

Под косым прикрытием свода вздуваются бока огромного шара. Железная дверь приоткрыта. Изнутри глухо доносится голос. Ломоносов секунду раздумывает, берется за поручни лесенки, входит в глобус и, ни на кого не глядя, садится за стол.

— Система Тихо Браге,— говорит Делиль,— утверждает, что земля находится в центре, а около нее обращаются луна, солнце и другие планеты. Система Коперника — напротив, что все планеты описывают круги около солнца. Таково ж и учение Галилея; земля не есть центр, а сама движется суточным движением. И вы, любезные наблюдатели, движетесь с великою скоростью... Подобно сему... Я пускаю с полною силою этот шар.

Головокружение.

Земля вращается. Для всех. Для щеголих и для франтов И для российского самородка, сидящего с ними рядом, полузакрыв глаза.

Планетарий XVIII века — славный готторпский глобус в действии**.** Вот закружил он свое небо, пробитое медными звездами. Люди в глобусе прослушают лекцию. Самородка разорвут центробежные силы, и он брызнет осколками, отразив два века зараз.

— Помянутый Галилей был судим за свое учение,— продолжает лектор и раскрывает одетую в свиную кожу книгу.— Под угрозою пытки, устрашенный великолепным Карлом Синцерусом, доктором обоих прав 1. и фискал-прокурором священной Инквизиции, он произнес отречение, и я прочитаю его в точности, как оно было записано, не изменяя ничего:

«Я, Галилео Галилей, сын покойного Винченцо Галилея, семидесяти лет от роду, преклоняя колени перед святейшими кардиналами и генерал-инквизиторами, касаясь рукой Евангелия, клянусь, что ныне верю, всегда верил и с помощью божией буду верить всему, чему учит и что повелевает святая апостольская римско-католическая церковь...»

(Ломоносов не слышит... «В чем сила сомнения вашего?» — спрашивает Шумахер, и Гейнзиус отвечает: «Он высказывает взгляды, противоположные принятым».)

А Делиль читает:

— «Я был сильно заподозрен в ереси, а именно в том, что защищал, будто солнце находится в центре вселенной и не движется, а земля не есть центр вселенной и движется. Чтобы снять с себя перед вашими светлостями и каждым католическим христианином это тяжкое и справедливо против меня возникшее обвинение, клянусь на будущее время ни устно, ни письменно не излагать и не утверждать ничего такого, что могло бы породить снова подобное же относительно меня подозрение. Если бы случилось (от чего да сохранит меня бог!) изменить какому-либо из этих моих обещаний, то заранее подвергаю себя всем карам, изрекаемым канонами и другими общими и особыми постановлениями... Да поможет мне в этом бог и святое Евангелие, которого касаюсь рукой».

1. То есть церковного и гражданского.

**1**

Больше опытов — больше знания, меньше друзей — меньше хлопот.

Меньше друзей, хотя их и так не сыщешь. Один друг — это не много.

Виноградов, все такой же живоглазый и шустрый, стоит на коленях, разбросав свой скудный багаж, оживляя смехом бонновский дом.

— Получай свои дневники, Михайла! Генкелевы лекции, коих ты весьма не жаловал. Держи-ка книги! Вот тебе «Gulliwer's Reisen», Фенелон, Гюнтер... Все привез. Ничего не забыл.

Его ручки мелькают, роясь в вещах, находят бумагу. Он протягивает ее Ломоносову с важным видом.

— Отзыв берг-советника Рейзера, видишь? Лучшие из иностранных маркшейдеров мне и в равенство не пришли.

— А Густав где же?

— Приехал. Да услышав, что в Академии неурядицы, не стал определяться. А ему что? У отца в коллегии дело найдет... Ну, а я на мейссенских заводах кое-чему научился. Ныне — бергмейстером и пребываю в ранге капитана-поручика. Только вот беда: драться неловко — вместо шпаги кортик надо носить.

Ломоносов с улыбкой смотрит на худую, острую мордочку, на собранный морщинками лобик.

—Кто я был? — говорит Виноградов.— Суздальский попович. А теперь — сознаёшь, Михайла? — бергмейстер и капитан-поручик!.. А у тебя что? Много ли нажил, чего достиг?

— Профессором сделан.

— Ну-у-у? От души поздравляю!.. А оды пишешь?

— Упражняюсь и в поэзии и в грамматике и наук не покидаю. Да вот, взгляни: вот они, труды мои, планы, книги... Только не без досад мне профессия химии досталась. Господину Мюллеру на том спасибо: полгода под арестом сидел.

— Почему так?

— Было дело... На конференциях, кроме шума, ничего не происходило. На Шумахера донос подали, а я в ту пору профессоров обидел. Комиссия и определила: по пунктам морского устава — Ломоносова бить кнутом и сослать в Сибирь.

— Ловко!

— По высочайшему повелению освободили... «для довольного обучения»,— прибавил он с усмешкой и потянулся всем своим крепким, широким телом так, что затрещал стул.

— А Шумахер как же? — спросил Виноградов.

— Выпутался. Прямая лисица! И к тому же за него Лесток писал, сильный при дворе человек иностранный... Послушай, Димитрий! — внезапно переменил он речь.— Ты на возвратном пути через Марбург ехал?

— Нет. А что?

Ломоносов не ответил и перевел взгляд сперва на пыльные, отставшие у печи шпалеры, потом на окно, за которым зеленел поросший травою двор.

— К кому бы это? — произнес он, вставая и следя за приближавшейся к дому фигурой.— Уж не ко мне ли?.. Штелин! Не знаю, для чего он сюда идет.

Он шел сюда, у него как раз было дело до Ломоносова. Уже в коридоре поскрипывали половицы, уже барабанила в дверь еготрость.

Профессор аллегории поклонился. Румянец играл у него во всю щеку. Взгляд выражал буйную радость.

— Подумайте! — обратился он к Виноградову, вертя пальцами трость и развевая епанчу.— Никто и не воображал, что Ломоносов женат. Да, да! — продолжал он, извлекая из кармана письмо.— Наш славный сочинитель, оказывается, мастер не только сочинять стихи. У него есть и жена, о которой он, впрочем, забыл, а она, бедняжка, ищет его по белу свету.

— Кто вам его доставил?

— Это не столь важно. Жена ваша обратилась в Гагу, к посланнику Головкину, в надежде что-нибудь разузнать о вас, тот переслал письмо ко двору, и оно попало в мои руки.

Ломоносов, бурый, со злыми глазами, читал.

— Правда, правда,— забормотал он,— но я никогда не покидал ее и никогда не покину. Только мои обстоятельства мешали мне ей писать и еще менее вызвать ее к себе. Но пусть она приедет, когда хочет. Я завтра же пошлю ей письмо и сто рублев денег.

— И превосходно! — Штелин завертел между пальцев трость и, уже стоя на пороге, сказал: — Но ведь никто и не воображал, что Ломоносов женат! И вдруг все знают! Вот чудесно!..

— Михайла! — тихо позвал Виноградов, когда они остались вдвоем.— Шельма! Так вот зачем тебе Марбург! Да ведь там Елизавета...

— Полно! — оборвал Ломоносов, принимаясь шагать из угла к окну.— Дела мои поспешно идут. Весьма рад, что она приедет... А ежели позволят химическую лабораторию открыть, то и вовсе станет легко. Я еще мозаику и стеклянное дело задумал — пронизи и бисер изготовлять. Теорию о свете измыслил. Нисколько голове своей не даю покою. Вот только Шумахер!.. Диссертации мои послал Эйлеру в Берлин. Думает, что охулит их и уничтожительный отзыв пришлет. Ну, да Эйлер человек честный.

— Забавно! Тебя стекло занимает, а меня — фарфор.

— Погоди, Димитрий, я фабрику заведу вскоре. Виноградов улыбнулся.

— Слышно, что ты одами укрепился при дворе. Пожалуй, что так... Ну, будешь во времени — меня вспомяни.

И — серьезно (так спрашивают дети):

— Вспомянешь, Михайла?..

**2**

Петербургский архиерей Феодосии был на *столы* великий щеголь. В парадной его горнице, выстланной заглушными коврами, сидели гости: архимандриты Владимирский и Воскресенский, синодальный певчий Гусев, приведенные им Ломоносов и Тредьяковский и украинец Кондратович — новый переводчик Академии наук.

Преосвященный покоился в кресле, положив на подлокотники белые тонкие руки. Он был тощ и прям: лицо — с кулачок, с сохлым ртом и редкими седыми бровями. Суровая железная борода его терлась о шелк рясы, задевая выпущенную на грудь панагию. Бойкий служка с масленистой, подбритой в кружок головкой обносил гостей питьем.

Синодальный певчий отирал пот. Его парил кафтан на заячьем меху, надетый, несмотря на летнюю пору, чтобы не спасть с голоса. Голос был такой, будто в дубовую кадь били ослопом, а сам он, как говорили духовные, *«медведоподобен и задопокляп».*

— В Архангельском соборе в Москве прошибка учинилась,— гудел певчий, дергая сальной сиво-белой косицей.— Ударил благовест вестовой, понес с Ивана Великого в три колокола прибойных, а епископ Лев стоит — стар стал, не знает, как службу начать. Ну, понемногу завел, да ни ползет из него, ни лезет. А как дошло до поминовенья усопших государынь, и он вместе с блаженныя памяти Анной Ивановной — ныне здравую государыню помянул.

— По старости да от внезапности,— строго сказал архиерей.— А ты уж и рад о владыке злословить?.. Филарет! — обратился он к служке.— Ты что же ученым людям вина не поднес?

— Я им налить не поспею, как они уж и выкушать изволят.

— Пустова не говори! — проворчал Ломоносов, ибо к нему более всех относились эти слова.

— А что ученые люди,— заговорил архимандрит Владимирский, рыхлый человек, с лицом как дыня,— честные и славные науки ныне происходят ли?

— Происходят ли? — подхватил и архимандрит Воскресенский, тихий, опушенный снежным волосом старичок.

— Я чаю, нет,— сказал архиерей.— Навезли из-за моря худых семян, а и земли, на которой сеять, не приготовлено.

— Простите, ваше преосвященство, но ложно судить изволите,— возразил Ломоносов.— И семена не все худы оказывались, и земля, на которой сеять, есть. Произошли ныне Крашенинников, Тредьяковский, Попов, Котельников и вашего преосвященства слуга покорный. Многие из юношества российского устремились к знанию, и я, нижайший, не щадя сил своих, в науках тружусь.

Рыжий, клевавший носом Кондратович потянулся через стол к Ломоносову:

— Трудишься?.. А лексикон мой для чего рассмотреть не хочешь?

— Что ты так торопишься в своем лексиконе? Мне его два года надобно смотреть и исправлять.

Переводчик сел. Обида созревала в нем медленно. Он опять низко опустил голову, уронив на крутой потный лоб яркий разогретый чуб.

Тут заговорил Тредьяковский, обращаясь к архиерею и посапывая вдавленным, нашлепистым носом:

— Подлинно так и есть, что труды господина Ломоносова превелики, славны и весьма разнородны. Только иногда изобретается в них сумнительство. Для примеру,— в его новооткрытом законе,— ежели к одному телу что прибавится, то столько же отымется от другого. А в Писании сказано: кто душу свою потеряет,тот ее сбережет.

Преосвященный просверлил Ломоносова глазками, перевел на Тредьяковского взгляд и ответил:

— Тонко, тонко! Не разумею. Я ученых людей везде не люблю насмерть. У меня от них теснота делается в голове.

— Ваше преосвященство! — сказал Ломоносов.— Это он на меня из зависти, что его через Синод произвели, а не через профессорское собрание.

У Тредьяковского под глазом налилась бородавка.

— Мне ли, мне ли завидовать вам, государь мой? И по какой причине? Уж не по той ли, что в надутых одах своих мой употребляете размер?

— Размеры не сочинителями выдуманы бывают. Их из природных свойств языка высмотреть можно.

— Однако счастие высмотреть размер тонический все же не вам досталось, а мне.

— Да они презабавны! — воскликнул рыхлый архимандрит.

— Забавны! — повторил старичок, опушенный снежным волосом.

А преосвященный откликнулся:

— Я их для того и позвал.

Разделив спорщиков, между ними встал Кондратович. Он заговорил, мешая украинскую речь с русской, покачиваясь и прижимая к груди громадный, в рыжем пуху, кулак:

— Ось я тo6i зараз кажу. Сочинiв я лексiкон россiйскiй. Для чего его рассмотреть не хочешь? Треба мiнiместо прохвессора до собирания лексиконiв...

— Проспись! — усмехаясь, сказал Ломоносов.— Такой-то и кафедры в Академии нет.

При этом он слегка задел локтем рыхлого архимандрита.

— Чай, не в лесу! — заметил тот.— Или уж и не видишь, кто перед тобою?

— Затем и вижу,— обозлился Ломоносов,— что ваше преподобие. А в лесу и медведь — архимандрит.

— Що ж це! — заскулил переводчик.— Такие дерзостi! В архиерейском домi!.. Мне проспаться велит, а просыпаются одни лишь пьяные, я же пьяного питiя не употребляю уже шесть лет.

— Дурак! — теснил его Ломоносов.

Архиерей о чем-то шептался со служкой. Певчий затянул: «Оглашенные, изыдите!» Оба архимандрита тряслись от смеха, и на них прыгали их черные клобуки.

И вдруг огненное колесо с шипением и треском рассыпало искры по горнице. Это архиерей зажег *фонтан* и бросил в гостей.

— Ах, нескучный человек! — вытирая слезы, пролепетал архимандрит Воскресенский.— Волос мне опалил.— Фонтан угодил ему в самую бороду.

— Ступайте! — смеясь, сказал архиерей.— Ступайте все вон и не приходите скоро. Бог да простит вас и подобных вам дураков!..

**«FLORA SIBIRICA»,**

**ИЛИ ГРЕНАДЕР БАШКИРСКОГО НАРОДА**

Птицы, особливо горячего сложения, часто бывают чахоточны.

(Г. Теплов) *«Птичий двор»*

**1**

Иоганн Георг Гмелин, академик по кафедре химии и натуральной истории, надорвал в Сибири свое здоровье. Он вывез оттуда обиду, гербарий и пять томов описания флоры. Граница европейских растений была отодвинута им до Енисея, и впервые обнаружилось сходство азиатских и американских пород.

Линней писал, что Гмелином открыто растений больше, чем всеми ботаниками вместе. Что ему пришлось испытать больше, чем всем ботаникам вместе, об этом Линней не писал.

У Иоганна Георга Гмелина было чувствительное сердце. Назначенный в Камчатскую экспедицию, тоскуя по родине, он провел десять лет в Сибири, отравленный горестным впечатленьем от этого края и запахом никому дотоле не ведомых трав.

Кривая кочевья шла через Красноярск, Туруханск, Якутию. Возвращаться не позволяли. Он жаловался: «Ежели мне до конца сей экспедиции приказано дожидаться будет, то я дальнейшую бытность в Сибири признаю за совершенную ссылку и никакого в том различия не нахожу».

По приезде он подал прошение об увольнении. Ответа не последовало. Между тем Шумахер отказался дать переписчиков для материалов первого тома. Гмелин с грустью заметил, что его бедная «Flora» должна завянуть, и попросил представить об его «абшиде» в Сенат.

Анекдот:

— Здорово, служивый! — крикнул попугай.

— Извините, ваше благородие, я думал, что вы — птица.

Федот Ламбус вовсю командовал гренадером-башкирцем, посылал его вместо себя на Почтовый двор, в полицию, на рынок, сулил за то отыскать пропавшую Ентлавлет.

Ламбуса перевели в академические сторожа. У него стало много работы, и башкирец был как нельзя кстати. Мадым уже потерял надежду, но отказать в услугах не имел силы. Попугай орал, приказывал вставать при его появлении и отдавать честь. Служивый вскакивал, повиновался безропотно, проникался уважением и страхом.

Однажды, придя в Академию, Гмелин заметил в коридоре странное зрелище: сторож Ламбус с важным видом приказывал что-то громадному гренадеру, стоявшему перед ним навытяжку. Увидев профессора, сторож шмыгнул под лестницу. Гренадер сделал через плечо поворот и встретился с Гмелином лицом к лицу.

Секунду они стояли молча, обрюзглый натуралист со вздернутым восковым носом и бесцветными, навыкате глазами и гренадер в яркой высокой шапке, с лицом в мелких зеленоватых точках и скулами твердыми, как кремень.

Роднящая большая печаль — во взгляде под синими, тонко ссученными бровями,— и Гмелин тянется к этому человеку.

— Ты кто?

— Гренадер Невского гарнизонного полку.

— А здесь по какой причине?

— Ентлавлет в башкирском возмущении пропала. Жену ищу. Чувствительное сердце готово приблизиться вплотную.

— Зачем сюда ходишь? Объясни толком.

— Ламбус приказал: ходи почасту, хорошенько служи мне, я тебе жену найду... Все нет Ентлавлет.

— Так она башкирка?

— Под Самарой в плен взята. И я в плен взят, в гренадеры.

— Что ж, скучно тебе?

— Очень.

Тут они оба потянулись друг к другу — немец-профессор и башкирец Мадым Бетков.

— И мне скучно,— дергая плечом, сказал Гмелин.— На родину ехать не позволяют... А я ведь в твоем краю был,— прибавил он, улыбаясь,— объехал башкирские пределы.

— Мы — народ бедный,— произнес Мадым.

— Люди в Сибири еще беднее...

Они стояли под лестницей. Из дверей понесло ледяным ветром. Гмелин закашлялся, схватился за грудь и проговорил:

— Вот что! Ты Ламбусу не верь. Он — плут, обманул тебя и ничего не может.

— Тогда побью его,— ответил башкирец и зашагал прочь.

Гмелин стал подниматься и скоро исчез на втором лестничном марше. Гренадер, держа под мышкой пакет, вышел на набережную. В Двенадцатой линии он отыскал дом, выкрашенный в зеленую краску, и постучался. Ему отворила дверь жена его, Ентлавлет.

**2**

Господин Тредьяковский успешно подвигался в своем переводе. «История» Rollen'a возвышалась на столе горкою томиков, тесня пузатую чернильницу, рукопись и сверстанные свежие корректуры**,** или — как назвал их Василий Кириллович — «кавычные листы».

Академический переводчик был недавно удостоен «в профессоры». Незадолго перед тем он женился. Ему досталась кафедра элоквенции и в придачу к жене — крепостная девка Наталья, имевшая добрую память на песни, которые она распевала грубым, смешным голоском.

Для элоквенции это был клад. «Французской версификации,— говаривал Тредьяковский,— я должен мешком, а нашей природной, простых людей поэзии — всеми тысячью рублями». Он часто приходил на кухню и приказывал Наталье петь русские песни, но едва удалялся — оттуда начинал доноситься заунывный чуждый напев...

«Разговоры» Плацена, Тацит, Плутарх, Дионисий Галикарнасский прочно сидели в своих гнездах на полках простого мореного шкафа. Светелка с чисто вымытым полом и муравленой печью проплывала над улицей, полная света, как кораблик, налитый водой.

Тредьяковский предавался раскаянию.

Он ожидал корректур и на досуге думал о своей многотрудной поэзии. Потертый, темно-песочного цвета кафтан был застегнут во все брюхо медными пуговицами. Губы — вжаты вовнутрь. Круглое, как маятник, лицо цвело бородавкой. Рука его отдыхала, расставив заботливо ударения, связав слова *единитными* палочками и проверив *кустодию* — непременный подстраничный перенос.

Он предавался раскаянию.

— Знаю, знаю,— размышлял он вслух,— язык мой жесток ушам, очень темен, и многие его не разумеют. А ведь прежде я им не только писывал, но и разговаривал, и вот прошу за то прощения у всех, про которых я своим глупословием щеголял... Дивный дар крепостной девки раскрыл мне силу нового стихосложения. Вижу, вижу, оно должно быть основано на ударении, или *тоне.* Поэзия нашего простого народа к сему меня довела... Вот он, сочинитель псальмы, стихов к дурацким свадьбам, получатель всемилостивейших оплеушин, обязанный вычищать российский язык.

Всю его муть, настоянную на веках рабской угодливости и уродства, всю убогую грузную нарочитость впитал он в себя, как губка. Ему ли было не затосковать по чистоте, по мерному раздолью слова? Хоть раз в жизни пролиться бы словом, как дождь!

Он берет лоскуток бумаги, пишет, не черня строки (ведь такое бывает раз в жизни):

Вонми, о, небо, я реку.

Земля да слышит уст глаголы.

Не то еще... Но вот:

Как дождь, я словом потеку,

И снидут, как роса к цветку,

Мои вещания на долы...

Наконец-то!

Он вычистил российский язык. Пусть ценой «Телемахиды» (в будущем), псальмы, виршей, за которые бит и осмеян! Пусть хоть на миг, но дождь прошумел. Язык чист.

В легком счастливом жару он поднялся, покричал за дверь и спросил себе квасу. Вошла Наталья, подала жбан и, поклонившись, стала у притолоки, рослая, смуглая. Глаза ее, блестящие, черные, были как угли. Широкие ее скулы темнило дрожащее теневое кружево. Сильные руки сложила она на груди.

— Пакета из Академии не приносили? — спросил Тредьяковский.

— Не приносили,— ответила она грубым смешным голоском.

— Для чего ты так невесела? Или тебе у меня надоело?

Она промолчала.

— Как то сталось, что тебя в плен взяли?..

— Ночь была...— заговорила она.— Звезды были... На всю степь светили костры... Мир так мир. Генералы сказали: «Присягайте на Коране!» Стали угощать мясом... Все поверили... Я плясала и пела: «Мои зубы, твои зубы встретились — ты растаял, как - белое серебро...»

— Памятно тебе это?

— Как день вчерашний... Я русские песни люблю, в песнях нет обману. А это дело — совсем-совсем плохое! Гостя нельзя обижать. У нас об этом вот как поют...

Она присела на черный, окованный медью сундук у стены и забормотала, скрестив на груди руки и покачиваясь.

**ПЕСНЯ ЕНТЛАВЛЕТ О ГОСТЕПРИИМСТВЕ ДЕРЕВЬЕВ**

— Ветер, ветер, очень сильный ветер. Один человек остановился в лесу.

Под толстым деревом хорошо спится. Пришло к толстому дереву тонкое дерево и говорит:

«Лекарь-отец, за тобою пришел. Меня послал наш высокий и белый старший брат. Он сильно качается».

Толстое дерево так отвечает: «Не могу прийти. У меня спит гость».

Ветер, ветер, очень сильный ветер. Опять пришло тонкое дерево и говорит:

«Просит скорее прийти. Он уже нагнулся». Лекарь-отец так отвечает: «Не могу. Как гостя одного оставлю? Да ведь он спит».

Тонкое дерево опять вернулось: «Он уже падает. Стоять не может».

Толстое дерево так отвечает: «Ветер, ветер, очень сильный ветер. Если и падает,— как гостя оставлю одного?..»

— Наутро человек, спавший в лесу, увидел высокое белое дерево, которое свалилось от ветра... Так у нас поют,— закончила она и насторожилась.

С улицы кто-то сильно стучал в дверь.

— Верно, из Академии,— сказал Тредьяковский.— Поди отвори, Наталья.

Она вышла, спустилась по лесенке, отодвинула засов. В яркой высокой шапке, с лицом в мелких зеленоватых точках, весь залитый осенним солнцем, стоял перед ней гренадер.

— Ентлавлет! — торжествующе произнес он и шагнул в сени. Она подняла руки ладонями вверх и закричала всей грудью:

— Коб-жаса (живи долго), Мадым!..

**3**

— Итак, моя бедная «Flora» должна завянуть? — говорил Гмелин, с грустью поглядывая на советника.— В абшиде мне отказано, а между тем ради приключающихся мне болезней вынужден я переменить воздух и ехать в свое отечество.

— Вы как бессовестный человек поступили,— отвечал Шумахер, отводя глаза в сторону.— Это было излишне — подавать жалобу в Сенат.

— Мне известно, что иностранные ученые о некоторых сибирских травах публично объявили. Смотрите, чтоб еще больше Не сделалось. Россия чести публикации может лишиться.

— Не извольте тревожиться. Вас, кажется, больше заботит награда за понесенные труды.

— Они того стоят, господин советник. Мною изучено понижение Каспийского моря и изотермических линий к востоку. Открыта вечная мерзлота почвы в Якутии и на Аргуни. Наконец, мое описание трав...

— Что до вашего описания — благоволите прежде прочитать его на конференции.

— Собрания не каждый день бывают. Мне придется читать шесть месяцев!..

Гмелин в отчаянии умолкает.

В кабинете серо и тускло. Сосет трубку мертвоухий советник на фоне серых обоев и чехлов на креслах. Серый, мертвенный блеск стекает с оловянных чернильниц на столе.

— Ваше благородие! — раздается почтительный голос. На пороге с бумагой в руке появляется переписчик.— Военной коллегии потребны от канцелярии сведения.

— В чем именно?

Шухамер встает, принимая бумагу.

— Действительно ли находится у профессора Тредьяковского башкирская девка и по каким актам он ею владеет.

— Пошлите копию профессору Тредьяковскому, обязав скорейшею подачей известия...

— Господин советник,— перебивает Гмелин, моргая бесцветными глазками,— прошу вас еще раз представить о моем увольнении. Я вынужден переменить воздух. Академия мне гибельна.

— Но ваш абшид гибелен для Академии,— насмешливо говорит Шумахер и поворачивается к натуралисту спиной.

**4**

«По силе собшченной мне копии должен я в канцелярию Академии наук подать письменное известие, которое и подаю в следующей силе.

Невского гарнизонного полку гренадер башкирец Мадым Бетков бьет челом или доносит ложно, что якобы у меня имеется в услужении жена его Ентлавлет для того, что я имею у себя с 1742 года женку башкирского народа, которая дана в услуги жене моей тестем моим Филиппом Ивановичем сыном Сибилевым и которая по-башкирски называлась Белыки, а не Ентлавлет, как гренадер-башкирец ее называет, а ныне во святом крещении именуется она Наталья Андреева дочь, потому что восприемником ее был в Самаре канцелярист Анддрей Яковлев сын Яковлев».

Тредьяковский расхаживал по своему «кораблику», заложив руки за спину. За ним наблюдал плотный, в васильковом мундире человек с желтыми, отвисшими щеками — петербургский обер-комендант Игнатьев, приехавший уговаривать Василья Кирилловича отдать гренадеру жену.

— Помянутая женка,— говорил Тредьяковский,— действительно взята военными людьми в то время, когда близ Самары бунтовали воры-башкирцы. А в Самаре отдана тестю моему, бывшему протоколисту Оренбургской экспедиции, как и многие прочие ребята и девки, розданные по указу в наказание бунтовщикам.

— Однако гренадер — человек вольный,— бубнил Игнатьев.— Говорит — дело-де его солдатское, не имеет у себя жены, а без того быть не может.

— Я давал им позволение видеться, как землякам, а женою он стал ее называть через долгое время, надумавшись. Да он и имени ее башкирского не знает!

— Через свидетелей доказано, что она подлинно его жена.

— Господин обер-комендант! — Тредьяковский опустился на стул, снял парик и, вытирая лысеющий лоб, заговорил умоляющим тоном: — А хотя бы она и впрямь была в Башкирии того гренадера женой! Нет у нас таких императорских указов, чтобы христианку отдавать за нехристя. Прежнее башкирское сожитие, ежели таковое у них и было, оно незаконное и не может браком назваться, но совершенным скотством!..

Он заводил глаза, округляя бубликом рот, и лукавил-лукавил, доказуя истину:

— У них ведь можно иметь по три, по четыре и по семь жен. И ежели бы сей гренадер башкирского народа захотел *вклепаться*1. здесь во всех семь башкирок, то надлежало бы ему требовать у своих господ всех семи...

— Военная коллегия определила,— оборвал Игнатьев,— отобрать женку без всяких отговорок... Объявляли вы, что она у вас болеене находится, а ее сам же нынче видел. Притом же и гренадер и таком азарте пребывает, что ума может лишиться.

— С опоя, должно быть?

— Нет, для чего же? С горя. Без крайности люди до крайности редко доходят.

И обер-комендант встал.

— Пусть по-вашему будет,— со вздохом сказал Тредьяковский,— я девку отдам башкирцу, ежели он обещается воспринять святое крещение. Хотя...— Тут Василий Кириллович не удержался и хитро покрутил головою.— Сие ведь если он и сделает, то лишь для того, чтобы жену себе достать, а не для спасения души...

Иоганн Георг Гмелин был отпущен на год в свое отечество.

Гренадер башкирского народа крестился и получил свою Ентлавлет.

Вскоре после того Тредьяковскому случилось быть в канцелярии.

— Что вы скажете? — встретил его профессор Винсгейм.— Господин Гмелин не намерен более возвращаться в Россию. Он напечатал за границей свое «Путешествие по Сибири» и опубликовал в нем много предосудительного.

— А его контракт?

— Он объявил, что вынужден был согласиться на это, иначе его бы силой удержали в Академии.

— Без крайности люди до крайности редко доходят,— рассеянно сказал Тредьяковский.— Однако господин Гмелин непорядочно поступил.

*1 Вклепаться в кого, во что — принимать чужое лицо за знакомое, привязываться к чужой вещи, называя ее своей.*

**ГЛАВА ШЕСТАЯ**

**1**

С гневом и яростью читал Ломоносов строки, обидные для России:

— «Бедственно, трудно и отвращения достойно было, что послам, присланным к великому князю московскому от татарских царей, и не токмо послам, но и весьма подлым посланным для взятия небольшой дани, сам великий князь московский выходил пеш навстречу, когда они на лошадях сидели, подавал им с унижением стакан кобыльего молока и лизал с гривы капли, которые на нее падали...»

— Сие есть выписка из польской хроники Иоанна Длугосса,— громил соперника Ломоносов.— Я ее для того привел, чтобы злонамеренность господина Миллера явною сделать, ибо он и прежде подобное в свои статьи втирать стремился, так и в сем сочиненьице, которое его высокографское сиятельство повелел рассмотреть...

Высокографское сиятельство — недавний пастух Кирилла Григорьевич Разумовский. Три года назад его сделали президентом. В Академии, впервые «по возрождении», предстояло торжественное публичное заседание. Готовились речи. Диссертация Миллера о происхождении и имени российского народа была возвращена «для усмотренного в ней сумнительства». Историческое собрание должно было ее обсудить.

А «сумнительство» действительно было.

В нагретом солнцем прямоугольнике залы было просторно, ряд кресел пустовал за столом, но Ломоносов устраивал *тесноту.*

— На зыблющихся основаниях поставлена вся его диссертация,— говорил он, разрубая ладонью воздух.

Шитье его камзола потрескивало, кружевная манжета была надорвана и тянулась. Миллер сидел с налитою шеей и пунцовыми по всему лицу жилками. Хранили молчание Крашенинников, Тредьяковский, профессор Фишер и новый академик Никита Попов.

— Приступ и заключение погрешностей против российского языка наполнены. Домыслы его темной ночи подобны. О святом летописце Несторе пишет весьма дерзостно: «ошибся Нестор»... Правда, господин Миллер говорит: «прадеды ваши от славных дел назывались славянами», но во всей диссертации противное показать старается, ибо на всякой почти странице русских благополучно бьют!..

Седой трясущийся Фишер пробует защитить историографа:

— Все же познания господина Миллера весьма значительны. Это еще из «Сибирской истории» видно было.

— А сколько усмотрено в ней противного регламенту академическому — лжебасней, чудес и церковных вещей?

— В течение десяти лет,— сдержанно произносит багровый Миллер,— обозревал я Сибирь и всюду списывал примечательные; акты, но господин советник решил, что норовлю, как бы книга вышла потолще.

— Сего касаться не станем,— уклоняется обвинитель.— Быть может, господа Попов и Крашенинников желают свои мнения объявить?

Смуглый, с иконописным лицом Крашенинников говорит мягким, степенным голосом:

— Удивления достойно, с какою неосторожностью господин Миллер употребил выражение, что скандинавы *победоносным* своим оружием *благополучно* Россию покорили.

Толстенький Попов подпрыгивает в кресле и кричит по-латыни:

— Tu, clarissime autor, nostram gentem infamia afficias!1.

Здоровяку Миллеру не хватает воздуха. Он мучительно стонет и хватается за грудь.

Тогда, косясь на Ломоносова, к историографу склоняется Тредьяковский.

— Федор Иванович! — говорит он тихо (так русские переделали Герарда Фридриха).— Полно! Успокойтесь! Он сам не знает ни аза. Я тотчас ему это в глаза скажу... Мне кажется,— обращается он к собранию,— что все затруднение сам себе сочинитель сделал: столь спорную он выбрал материю. А судья попался — самоназвавшийся историк, которому само имя господина Миллера не по нутру... С другой стороны, политическая опасность требует не оскорблять читателей, а особливо российских...

Все молчали. Ломоносов листал «Ведомости». Растроганный Миллер, ни от кого не таясь, вытирал глаза.

— Каково же будет определение? — спросил Фишер.

— Диссертацию смягчить да выправить,— предложил Крашенинников.

Попов не согласен:

— Такое-то и выправлять не для чего! Но Ломоносов уступает:

— Надобно диссертацию, напечатанную и белую рукописную, сдать в архив, дабы автор со временем мог ее исправить, а покуда не выпускать ни одного экземпляра в свет...

Миллер более не выдерживает. Он вскакивает, хватает палку, лежащую подле него на кресле, и с размаху бьет по столу конференцскому.

— Вы!..— кричит он.— Вам должно было родиться давно, когда древние российские добродетели были в употреблении, когда русские цари в день свадьбы клеили волосы медом, а на другой день парились в бане вместе с царицей, когда все науки заключались к одних святцах, когда женились, не видав невесты в глаза!

Отодвигаются кресла. Скользят ноги по лощеным торцам. Собрание «закрывается». Ломоносов, закусив губу и опустив голову, выходит из залы. По коридору навстречу ему — советник Теплов.

Это еще совсем юный человек, курчавый, с темным выпуклым лбом и живыми, как ртуть, глазами.

— Ба! — восклицает Ломоносов.— Когда ваше благородие приехать успели?

— На день лишь, на день... Поспешаю... Ну как у вас ассамблея публичная? Будет ли в срок?

— Все изрядно.

— А у меня для вас цидулка есть. Письмо от Эйлера, из Берлина. Весьма вас восхваляет, в науках-де вы так всех превзошли, что надо бы вам родиться лет через двести...

— Значит, Эйлер мой *закон* одобрил и диссертацию похвалил! — торжествуя, почти кричит Ломоносов.— Значит, все-таки вертится!.. Если одному телу что прибавится, то столько же отымется от другого!..— И вдруг подозрительно настораживается: — А вы потешаться, государь мой, не извольте!.. Вы небось при дверях стояли?!

И косым шагом удаляется от Теплова, смолкшего в недоумении, остановив глаза.

*1 Ты, славнейший автор, нашему народу бесчестье наносишь! (лат.)*

**2**

Он поднялся из среды украинских городов, когда Петр после измены Мазепы указал быть в нем резиденции гетманов. Гетманы сошли, как снег. Их клейноды при Анне взяли в Сенат — бунчук с конским хвостом и резную семигранную булаву. Но городку, славному тютюном, гусями и салом, повезло: в нем скоро появился новый гетман — Разумовский.

Ему двадцать два года — он президент Академии наук; двадцать шесть — он заводит островок роскоши среди моря нищеты и подписывает универсалы.

Его глуховский *двор* — сколок с петербургского. Здесь — парк, пруды, французская комедия и французские повара. Бобровники и пташники добывают зверя и дичь. Команда в зеленых гусарских мундирах стережет знамя — «надворную корогву».

Его избрала войсковая старшина, полковники, сотники, попы. Рядовых казаков при этом не было. На Украине, бедной населением, земледельцы издавна стремились их закрепощать. От нового гетмана они иного не ожидали.

Но льготы явились. Этого нельзя было избежать в стране, истощеннойпоборами, засухой и саранчой. Были уничтожены почты, заведенные во время турецкой войны. Снята недоимка. Велико­россам запрещено *«холопить за себя малороссов»,* проезжим — **з**абиратьдаром дрова и провиант...

Глухов — по холмам и увалам. Над Усманью — укрепление с четырьмя воротами (брамами). К нему тянутся предместья: Веригино, Усовка, Красная Горка. Под кубовым небом — затейливые панские хоромы. Пыльную зелень садов прорезает мазанковая слепящая белизна.

На Веригине — гетманский дом. Здесь канцелярия, генеральный суд и курень, где живут чиновники. Тут же и пансион для детей обоего пола, известный всему югу России,— заведение мадам Лаянс.

У ворот парка сидит босой кряжистый дед. Он «на одно око слiп». Согнувшись, ковыряет щепкой в гладкой, кофейного цвета пятке.

К воротам подлетает шестерка вороных в звонкой упряжи, в посеребренных шорах. Гетман в малиновых шароварах и вышитой сорочке выходит из коляски. У него добродушное, будто из глины вылепленное лицо, толстые — кувшинчиком — губы. Он вынимает изо рта люльку и плюет через губу.

Кривой дед вскакивает, стаскивает с головы соломенный круг и стоит, не убирая упавшие на глаза смоляные со снегом пряди.

— Як co6i поживаешь? — спрашивает гетман.

— Та зо всячиною,— опасливо скрипит дед.— Как там кажуть: часом з квасом, порою з водою... Гадюки такi настали, що и скотину позакусювали, да и дощу нема та й нема. Не дае бог дощу.

— A синкi твоi дэ? Чого вони паньщини не вiдбувають?

— Та xi6a ж я знаю? У степ утiклi... Вони трошки co6i панськой натури.

Разумовский засмеялся.

— Добри хлопцi! Батька хорош, да матка свобода ще краше. На их мicтi и я бы утiк.

Тут он взял старика за чуб и поскуб легонько.

— А пiймаю хлопцiв — покоштую плетей та пiдуть у Ci6ip. Бо i я трошки co6i паньскоi натурi..

В дверях шпалерами выстроились гайдуки в польских кафтанах со связанными на спине откидными рукавами. Он оставил кривого деда и прошел в дом.

У Кириллы Григорьевича часто бывало на *водке* глуховское панство... Гуляли и *куликали*1.допоздна под гром дворовых пушек. Но сегодня «куликать» не собирались. Стол был накрыт в личном покое гетмана малый — всего на пять персон.

У раскрытого окна в парк — щеголеватый придворный поп, русый казачий атаман с приглаженными *чепурными* усами и хилый, известный своим сутяжничеством чиновник генерального суда. Подле Разумовского — Теплов, его ментор и управитель.

Вносили кабачки с *карафинами;* в них вспыхивали сливянки, яблоновки, терновки. Подавали соленых перепелок, кашу, борщ гетмана Апостола и борщ Скоропадского (гетманы оставляли украинцам одни борщи).

— Ваше сиятельство! — говорил, указывая на чиновника, чепурный атаман.— Его шинкарь на 6aзapi щукой 6iв; як, вiн з серця не лопнув — не згадаю.

— О це так! — сказал Разумовский.— Кажи нам, як то було.

— А чого тут казати? — проворчал чиновник.— Торговав шинкарь Лейба рибу, а я ii перекупив. Он мене i ударiв. Це уся i сказка.

— В суде надо на него искать,— подмигивая атаману, заметил поп.— Ведь ты небось при орденах был?

Чиновник погрозил пальцем и закачал головой.

— Я, коли на базар iду*,* ордена ховаю.

— Торговаться способней? — спросил Теплов.— Только ведь: «Расстёгнут — прав, застёгнут — виноват». Неужто не знаешь?

— А расстегнуться xiбa довго? Hi-i-i... Про це ж дiло я добре розумiю. Генрих Четвертый был не токмо 6iт, но и вбiт, и Семирамида также. Менi шинкарь щукою ударiв по лицю. А нет у нас законi, ни у «Правди» Ярослава о побоях рыбьiм хвостом. Я на цього Лейбу искать не стану.

Все засмеялись. Кирилла Григорьевич уже изрядно подпил. Не отстали и гости. Только Теплов больше пригубливал, делая вид, что пьет, смотря на своего патрона трезвыми дерзкими глазами.

— Треба мiнi ще у Kiiвi покулiкати,— потягиваясь, сказал Разумовский.— Ось дэ дуже гарно... Григорiй Николаiч! — обратился он вдруг к Теплову с озабоченным лицом.— А что тебе из Акадэмii пишуть?

— Просто и не знаю, как быть,— отвечал Теплов.— Такая свара затеялась из-за сочинения господина Миллера! Ломоносов «Слово» его преосновательно спорил, и видать по всему, что оно не без греха.

— Поступай, как знаешь.

— Еще я вашему сиятельству хотел сказать, что Ломоносов в канцелярии укрепиться хочет. Я бы не советовал его допускать, Нрав его весьма крут.

— Изволь, друг мой. Не допускай.

— Полагаю, написать надо ее величеству, что корпус академический обстоит благополучно. Господам профессорам приказать, чтоб ссоры свои прекратили. Господину же Миллеру — «Слова» не произносить.

— Що за голова, що за розум!.. Я тебе во всем вверился, друг мой, и ничуть не жалею.

И гетман встал. Он был уже совсем пьян.

Подойдя к шкафу розового дерева, он вынул из него пастушескую свирель и простонародный кобеняк.

— Хочу вспомнить,— сказал он,— то время, когда был пастухом и пас волов.

Надел кобеняк и заиграл, водя по деревянной дудке мокрыми от вина губами.

Гости смотрели с умилением. Свирель текла тихим ручейком. Он надувался, играл быстрей и, притопывая, кружился по зале.

— Що? — покрикивал он.— Акадэмiкi!.. Усё споритися треба?.. Ось я вам!.. Цоб, цобе, мои круторозi!.. Эй, Григорiй! Кажи, сладко ли вiно?

— Сладко, ваше сиятельство.

— Ты кажи, добре ли сладко?

Теплов прижимал стекло к зубам, тянул медленно, с присосом.

— Сладко, сладко так, что и губ не разведешь!..

*1 Куликать — пьянствовать, упиваться.*

**3**

«Версты в России разной величины, смотря по расположению землемеров к почтосодержателям».

Академик Бернулли, написавший это, был неправ. Версты при Петре составляли тысячу сажен. В 1744 году их укоротили до пятисот. Просто не успели переметить тракты.

Ломоносов, подъезжая к Москве, ругал не почту и не землемеров, но академическую канцелярию. Ему не дали ни паспорта, ни прогонных. Пришлось все добывать окольным путем.

А ему была нужда ехать. Уже перекочевала из Марбурга жена. Не хватало на жизнь, на химическую лабораторию, где он успел уже открыть мозаичную массу. Пора было заводить фабрику, возвышаться, доставать чины, иметь денег побольше. Ии-ми своими трудами, одами, которым счет потерял,— разве он не заслужил?..

Москва была все такой же. Громадной усадьбой с проплешинами пепелищ. В глубине за плетнями стояли купеческие дома, окруженные вековыми деревьями; лежали под грязным, тронутым снегом огороды, пасеки и луга. Так же, как и пятнадцать лет назад, блестели большие медные кресты на воротах под двускатными кровлями, толпился народ у кабака «Под пушкой», пощелкивал каленый орешек и несло водкой. У Курятного моста фабричная молодежь билась на кулачках. Дозорный орал с ближней каланчи.

Как и прежде, у Иверских ворот *яма.* Избитый арестант высовывался из-за решетки и просил караульного: «Отпусти меня!» — А как тебя отпустить? — отвечал солдат.— Может, тебе еще голову рубить надо»... Вот и Академия, что за Иконным рядом. Та же над входом «картина» — жестяная вывеска с намалеванной горящей свечой.

В Китай-городе — сизый чад от выносных очагов. Стояли у жаровен дьячки, извозчики, торговцы. Пахло скобяным товаром, луком, салом, и над всем этим — молодо, остро — весной.

Ломоносов остановился в синодальном доме, где певчие сдавали приезжим квартиры. Надо было отоспаться. Вечером — во дворец.

Москва была все такой же. Громадной усадьбой с проплешинами пепелищ. Пепелища — свежими памятниками недавних бунтов.

Три года назад здесь орудовал вор и доноситель сыскного приказа Ванька Каин, сподвижник волжского атамана Михайлы Зари. Он выдавал беглых и укрывал грабителей; вся московская полиция была у него на откупу. «Вольные гулящие люди» бежали в Москву на огонек, и вскоре, яростно вздутый ими, он прянул не одним пожаром.

Перепись 1742 года захлестнула всех. Служилый должен был записаться в службу за государством, податной — за всяким, кто захочет за него платить. Вольные были обязаны найти себе господина, но закон отдал право закрепощать — одним дворянам. Крестьянам как милости пришлось вымаливать, чтобы кто-нибудь из дворян взял их в вечное рабство. Они бежали в степь, «для вольных работ» На фабрики — попадали в пущую неволю, бежали вновь и жгли города.

В такое-то время императрица Елисавета вздумала переехать со всем *двором* в Москву и двинулась, по обету, пешком в Троице-Сергиеву лавру.

Пройдя две-три версты, она садилась в карету, так как заболевала коликами, ехала, потом *возвращалась* и снова шла «для вменения взачет тех верст, которых прежде пеша идти не изволила».

Таким странным маршем — шаг вперед, два назад — она достигла села Братовщины, откуда пришлось, невзирая на колики, мчаться в город галопом, оставив часть свиты в раскинутых на лугу шатрах.

На московской фабрике Болотина произошли беспорядки. Более 800 человек «сошли и суконное дело оставили».

Пылали дома.

На Суконном дворе в Кадашах военная команда наводила порядок.

Болотин и его компаньоны требовали: «Работным людям учинить наказание; малолетних вместо кнута — плетьми, а прочих –десятого кнутом».

Едва начали сечь одного из зачинщиков, «работные с великим гвалтом команду отбили».

— К работе нейдем! — объявили они.— И впредь будем чиниться противны. Насилу имеем дневного света, чтобы тканье свое высмотреть, а нас за то бьют, что худобу на сукне не умеем примечать...

Это продолжалось около двух недель, пока полиция не пepeловила рабочих по харчевням. На Суконном дворе началась экзекуция. Не дожидаясь ее конца, Елисавета вновь выступила в лавру, подвигаясь испытанным маршем: шаг вперед, два назад.

«Два письма от вас получил, а что на заводах и в протчих местах благополучно, за то — благо­дарение вышнему. Об отпуске ежегодно весеннего каравана по 300 000 пуд прекрепко вам помнить да зарубить на носу о беспрерывном действии домен и о всегдашней молотовой работе на все горны и молота...

А для чего, плут Яким, ничего не объявив, ездил с завода? Или ты, сукин сын, сверчок поганый Яким, захотел точно длинного лыка и каторги за такие потаенные отлучки?..

Работных людей за взятые воровски канаты и тес и с женами ихними (за то, что такие худые наставницы) — рассечь плетьми. Да объявить им: были б во всем правдивы и чисты, не то станут у меня в дерьме валяться. Цыц, цыц и перецыц! Хищения господского не потерплю! Всех их, как раков, раздавлю и пущу на ветер...»

Так писал своим приказчикам крупнейший в России заводчик Никита Демидов в то самое время, когда приехал в Москву, ко двору, Ломоносов и во дворце Разумовского следовал за куртагом куртаг.

«Милостивый государь, прещедрый отец наш и покровитель Никита Акинфиевич,— писал Демидову приказчик,— Калужского уезда Ромодановской волости Выровской твой завод разорен. Собрались работные люди, изломали мельничные колеса, спустили из прудов воду, а объявили, что без пролития крови тебя слушать не станут для того, что работа-де им несносна, а плети твои тяжелы. И драгунский полк выступал в Калугу, а оттуда к нам. Но многолюдством и скоропостижною наглостью работные люди команды не допустили. Своими глазами видели, как несмысленные крестьяне учили полк екзирциции — как приступать и отступать. А были у них нарочно сделанные ножи да оглобли, у иных луки со стрелами; многие ходили в гренадерских шапках. И амуницию всю отбили, и офицеров и драгун били, грозя вовсе размучить, а полковника взяли с собой в волость. Прещедрый отец наш и покровитель Никита Акинфиевич! А тех людей разобрать по рукам иначе нельзя, как, полками окружа, деревни их зажечь да по ним бить из пушек...»

Двери распахнулись. Десять тысяч шкаликов, налитых воском, осветили надутых амуров на потолке. Янтарную свежесть пола замутило отражение камзолов и роб, востроносых туфелек и красных каблуков — этого отличия высшего дворянства.

В доме Разумовского в Немецкой слободе начался куртаг. Фигурный стол был составлен в виде четырех подков. В середине его бил фонтан. Кругом по стенам потрескивали банкетные свечи.

Садились «по билетам». Ломоносову вышел билет в самой глубине изгиба. Мешались зеленые робы, плотные, как луб, и белое сукно камзолов; мушки, букли, папильоны, волосы, гладко зачесан­ные вверх.

Елисавета — со вздутою, как парус, грудью, без причины удивленно выгибающая брови. Рядом с нею — Алексей и Кирилл Разумовские, ее двоюродный брат граф Гендриков. За креслом — Шувалов, камергер и новый фаворит.

Она оглядывает стол, оборачивается к камергеру и, улыбаясь, что-то ему приказывает. Он уступает свое место Алексею Разумовскому и направляется к Ломоносову, возле которого один стул пуст.

— Ее величество,— говорит он, усаживаясь,— соизволила пожелать, дабы я с тобой подружился.

У него лукавый, насмешливый взгляд. Косо вздернутые брови, длинный нос и рот с отвислой нижней губой делают его похожим на козла.

Он вынимает фарфоровую табакерку и стучит ногтем по крышке с розовым сердцем, пронзенным стрелою.

— Первая проба с Невских заводов. Императорский фарфор начинает происходить.

— Смотрите, чтобы в сем деле остановки не вышло,— говорив Ломоносов.

— Отчего ты так судишь?

– Оттого, что завод сей в ведении барона Черкасова находится, а мне доподлинно известно, что он Шпалерную мануфактуру вконец разорил.

— Сего не будет...— успокаивает Шувалов и переводит речь на другое: — А как, государь мой, полагаешь о науках? Много ли Питербурх превосходства имеет перед Москвой?

— Все превосходство его на том лишь основано, что в Москве еще нет университета.

— И я совершенно так думаю. Вскорости попрошу тебя сие обсудить.

Фонтан шелестит над столом. Лица скрывает искрящаяся, несущая прохладу проволока. Шувалов вертит худыми белыми пальцами табакерку. Ломоносов зорко ловит обращенные на них обоих взгляды и говорит:

— Во всех европейских государствах позволено в академиях обучаться всякого звания людям, хотя там уже и великое множество ученых есть. А у нас в России, при самом наук начинании, крестьян не принимают. Будто бы сорок алтын столь казне тяжелая сумма, которую жаль потерять на приобретение ученого россиянина, и лучше выписывать? Довольно б и того, чтоб холопских детей не принимать.

— Резонно рассуждать изволишь,— кивая головой, соглашается Шувалов.— А каковы и в чем состоят новые твои труды?

– Трагедию «Демофонт» кончаю, занимаюсь несколько историей и електрические опыты делаю. Кроме того, открыты мною мозаическая масса и цветные стекла, о чем вашему превосходительству особо хочу изъяснить.

— Изволь!

— Масса эта есть та самая, которою один лишь Рим хвалится, а ныне можно ее у нас приготовлять изрядно... Но всего более пекусь я о том, чтобы завести фабрику бисеру и стекляруса, для чего и намерен просить государыню пожаловать мне крестьян душ с двести, коим быть при фабрике вечно... Сего бисера в России еще не делают, но привозят из-за моря ценою на многие тысяч» А ежели фабрика учредится, то не только можно будет имети помянутых товаров довольное количество, но как они заморским дешевле станут, то и за море отпускать.

— Иван Иванович! — окликнула Шувалова через стол Елисавета.— Подай-ка мне табакерку, что ты в руках вертишь. Да гляди не упусти!

Камергер, обогнув фигурный стол, подошел к императрице.

— Прелесть! И *ето* у нас сделано? — спросила она, разглядев фарфор.

— У нас, матушка. Да за морем лучше делать умеют.

— Где ж это, друг мой?

— В Мейссене, в Севре, а теперь и на славном острове Британии.

— Для чего ты Британию так называешь? Да разве *ето* остров?

— Остров, матушка, остров...

Тут Шувалов, бросив взгляд в сторону, заметил угрюмого графа Гендрикова и тихо проговорил:

— Я вашему величеству забыл сказать: граф Гендрик под Москвой изрядно пошалить изволил. Мужики борзую его убили за то, что она ихнего барана заела, а граф с сердца всю их деревню под дым спустил.

Елисавета выгибает брови. Подбородок ее двоится. Она обращается к графу и, грозя пальчиком, произносит:

— Эй, Гендрик! Не шали!.. Ну, друг мой! — продолжает она.— Ты, кажется, подружился с Ломоносовым?

— Это не человек, а урод.

— Почему так?

— Да он столь основательно обо всем решает, что я иначе его и назвать не умею.

И Шувалов, изредка поглядывая в сторону Ломоносова, начинает вполголоса что-то горячо говорить...

Немного спустя он возвращается к оставленному собеседнику.

— Государыня пожелала,— радостно объявляет он,— видеть российскую историю, написанную твоим штилем... Я бы советовал тебе и вовсе оставить науки, а трудиться в истории да в поэзии. Это куда приятней... Я и сам стихи пишу.

Ломоносов краснеет. Лицо его резко повернуто, и чуть вздрагивают вытянутые сердито губы.

— Что до физики и химии касается... чтобы их вовсе покинуть...в том нет ни нужды, ни возможности.

— Ну, как знаешь. Впрочем, поздравляю. Ее величество жалует тебе для фабрики село в Копорском уезде и двести душ крестьян.

**МАССА № 15**

Меньше говори, будучи пьяный, нимало не сердись, когда кушаешь,

сноси такое дело, кое снесть трудно, принимай на великодушие, что дурак сделал.

*«Умные речи ученых китайцев»*

Не глазами рыбу достают — неводом.

*Китайская пословица*

**1**

«В некотором царстве, в тридесятом государстве...» Так бы следовало начать главу о русском фарфоре, ибо от сказки, от выдумки, сплетенной в пекинской кумирне, от коварного блеска раздраконенного гладью шелка чуть было не начался русский фарфор.

До конца XVII века наша керамика ограничивалась выделкой ценины — изделий, расписанных большею частью синею краской, под глазурью, поливой или муравой. У нас были изразцы и «каменная» чайная посуда; фарфор же и фаянс ввозились из Китая, с которым торговля велась через особый Китайский караван.

Европа ревниво берегла секрет. Азия — также. России беречь было нечего. Караван привозил «сервизы и жбаны Российского государства», причем гербы неизменно были *головами вниз.* Караван вывозил чиновников; они упрямо толковали, чтобы гербы делались *головами вверх,* и между делом пытались выведать секрет, дабы и у себя завести фарфор, «какой имеется в Китаях».

Директор каравана Лебратовский нашел близ Кяхтинского форпоста серебряника Андрея Курсина, знавшего толк в «порцелине» (фарфоре) и умевшего составлять массу, только без глянца. Лебратовский взял его с собой в Пекин.

Там, в заброшенной кумирне, далеко за городом, «с немалою опасностью от китайцев» Курсин получил от мастера богдыханских заводов нужные наставления, а мастер от него — две тысячи , лан.

Директор привез в Петербург Курсина и брата его Алексея. Они стали налаживать производство — возить глину с Олонца и Урала и браковать ее. Хлопоты их стали известны, возбудив при дворе честолюбие и зависть. Соревнуясь с Лебратовским, основал фарфоровую фабрику и Черкасов, елисаветинский кабинет- министр.

Секрет, или *аркан,* вызвался открыть немец Гунгер, выдававший себя за мастера с мейссенских заводов. Он именовался *арканистом,* важничал, дорожился и разыгрывал из себя алхимика. К нему был приставлен бергмейстер Дмитрий Виноградов — перенимать секрет и уменье из рук в руки, из уст в уста.

Вскоре Курсины донесли, что китаец их обманул, утаив рецепт и взяв деньги напрасно. Сказочный круг замкнулся. Просеянная в грохотах глина обернулась драконом.

«В некотором царстве, в тридесятом государстве...» — так бы следовало закончить о русском фарфоре, если бы не начался новый круг, новая глава, где после «многих досад» все же исчезают басни и плутни.

Виноградов и Гунгер остались одни.

Участок для фабрики отведен в восьми верстах от города, на Невских черепичных заводах, вдоль старого тракта на Пеллу и Шлиссельбург. Он занимал угол, образуемый Невой и ручьем позади заводской церкви, где томился пленный шведский колокол. «Магазейн», два каменных дома для начальства и деревянный для живописцев — на переднем плане. Во дворе — сарай, называемый ораторией, горны, склады и службы. В глубине у ручья — кузница, кладовые и большая обжигальная печь.

Караульная команда в разбитых сапогах и грязных парусного полотна кафтанах слоняется по двору, стережет секрет, которого пока еще никто не знает. У строений печется на солнце гжельская глина; ветер разъедает ее рыхлые комья, и бурые пыльные змейки, вихрясь, разгуливают по пустырю.

Звонит колокол. Солдаты слушают пленную шведскую медь.

— Добрый звон! — говорят они.— В прежние времена колоколa эти с бою добывали.

— Известное дело, ныне какая служба! Баба царствует, так и войны нет.

— Бабы городами не владеют, это верно. А что в недавние годы звезда являлась, то не зря. Вот и неурожай у нас, и многие города горят. Беспременно должон быть мор или еще какая перемена...

Колокол смолкает. Со звонницы спускается звонарь, сухонький кривой старик в лаптях и рубище железного цвета. Он подходит к солдатам, вынимает из каждого уха по вишне, которые вкладывает, чтобы не глохнуть от звона, и трет ладонью единственный, красный, полный слезою глаз.

— Знатно по всему, что ныне Разумовский — временщик,— продолжается беседа.— У нас при каждом государе временщики. Только Разумовскому до тех пор и жить, пока государь Петр Федорыч царства не примет.

— Да и мне слышалось, будто государыня сказывала: «Ну, Алексей Григорьевич, пока я жива — веселись, а когда я не буду, так и ты скорее умирай»... А он, временщик, с государыней в шлафроке кушает...

Звонарь сдвигает седые кустистые брови; страх оживляет спекшуюся маску его лица. Он медленно отходит от разговаривающих, качая головой и заскребая лаптями пыль на дороге, и направляется к главному зданию, где живет начальник караула, подполковник Хвостов.

По двору проходят Виноградов и Гунгер, толстый, опрятный, с рачьими глазками и кривым долгим носом.

Виноградов — в капитанском мундире, с кортиком, размахивающий дубинкой, кажется стройнее и выше, чем был, да он и похудел с тех пор, как приехал в столицу. Указывает на кучу размягченной глины, дымящуюся на ветру, и говорит:

— Я уж вам представлял, что мылянка для фарфоровой массы негодна: песок трудно отделяется, и после обжига желта.

— Вы еще не так сведущи, чтобы судить об этом,— сухо замечает Гунгер.— Продолжайте опыты с мылянкой по-прежнему. В России нет материалов, вполне заменяющих китайские каолин и пе-тун-тзе.

— Отменно пустыми делами заниматься не стану, тем более что опыты с жировкою и песчанкою отчасти мне удаются.

— В самом деле?! — вскрикивает Гунгер, останавливается и хватает за руку собеседника.— Вы, конечно, подробно записали это в журнал?

Теперь уже Виноградов говорит сухо.

Он гримасничает и быстро вращает дубинкой.

— Вам нет нужды знать о моих опытах, потому что сами никогда не допускаете меня к своим.

Они молча, зло глядят друг на друга, осыпаемые крупною рыжею пылью. Важно, с достоинством, сопит Гунгер, и все быстрее описывает круги дубинка. Но вот Виноградов повернулся к «арканисту» спиной и зашагал к лаборатории.

Гунгер подходит к караульным и отзывает солдата, веселого, румяного парня с темным рубцом на безбровом плоском лице.

— Умеешь читать? — спрашивает Гунгер.

— Знаю, ваше благородие.

— У господина Виноградова в комнате есть журнал...

— Так точно.

— Туда секреты записываются. Понял?

— Мы люди не слепцы, не по канату ходим.

— Изрядно! Как господин Виноградов в журнал что запишет, так ты скорей все прочитай и мне донеси...

**2**

Ее распускали, по многу раз процеживали сквозь сита, сперва грубые, потом частые шелковые грохота. Ее отмучивали и сушили в гипсовых горшках, простую гжельскую глину: в России не было материалов, вполне заменяющих китайские каолин и пе-тун-тзе.

Рабочий стол Виноградова в одноэтажной просыревшей лаборатории уставлен образцами проб. Каждая имеет свой условный знак: масса номер такой-то. Каждая удавалась отчасти и в общем была негодной. Календарем упорнейших поисков стояли в ряд четырнадцать неудач.

Никита Воинов, русый, стриженный под горшок, с непомерно высокой грудью и низким, утробным голосом,— самый способный из виноградовских учеников.

— Ваше благородие! — восклицает он.

— Чего тебе?

— Текёт.

Никита встряхивает волосами, литой кружок прикрывает его затылок.

— Текёт! — повторяет он испуганно и раскидывает над столом руки.

Потолок, затянутый грибной плесенью, серебрится от влаги; мутная струйка льет оттуда прямо на стол, на образцы.

— Тащи! — приказывает Виноградов, и они поспешно относят тяжелый стол в сторону.

— Пропадем мы с немцем,— говорит Никита.— Нипочем не хочет чинить крыши.

— А что новая проба его? Хороша?

— Какое там! Открыли печь, а посуда вся либо села, либо сплылась.

— Рапорт подам, чтобы его от нас взяли, а то он одно плутовство оказывает.

— Не иначе. Дела не знает, обманом действует. А в палатах что стало! Сырость, грязь, дух дурной нестерпим.

Виноградов нахмуривается и быстро идет к выходу. Никита останавливает его.

— Ну?!

Ученик достает из-за пазухи завязанный узелком платок, робко протягивает.

— Что это?

— Жалованья небось не получали?

— Нет.

— Так ребята собрали вам. Возьмите покуда. Стянутый морщинками лоб распускается.

— Спасибо, брат! — Мастер расцветает улыбкой.— Я отдам в самой скорости.

И, потрепав по плечу Никиту, сияя, выходит во двор.

Он пересекает двор, продолжая сиять, и через галерею главного здания пробирается к своей каморке. Дверь распахивается. Сияние погасает. Глаза распирает от вида разгромленного стола, груды кинутых вразлет журналов. На полу — в рыжих сохлых следах — тетрадь: список оды Анакреона; он только на днях с любовью и старанием ее переводил.

Оцепенение — секунду. Затем Виноградов бросается к столу и выволакивает из-под него притаившуюся фигуру.

— Воровать?! — кричит он, яростно замахиваясь дубинкой.

— Никак нет. Мы это по службе.

И перед ним в испуге вытягивается караульный с темным рубцом на безбровом плоском лице.

— Каналья! Для чего ты здесь рыл?!

— Господин Гунгер приказали. Секреты вычитывать.

— Вот как?! — Виноградов трясется от злости.— Ладно! Ступай!

Он лупит повернувшегося солдата дубинкою между лопаток и тотчас обгоняет его, бранясь на весь коридор...

Спустя час крепкие его кулачки разносят дверь Гунгера. Уже нечер. Немец ложится рано. Должно быть, вернулся из города, уже улегся и надел колпак...

Виноградов сотрясает дверь, пинает ее коваными сапогами,— квартира изнутри наполняется гулом.

— Wer ist da? 1. — произносит наконец испуганный голос, и на пороге появляется немец, полуодетый, со шпагой в руке.

— Кто вам позволил следить?! — вопит Виноградов.— Кто вам дал на это команду?!

Гунгер защищает свое жилище. Он делает шаг вперед, заслоняет дверь и, согнув в локте левую руку, становится в позицию.

— Не извольте буянить,— стуча зубами, говорит он,— мне приказано следить. Сам Черкасов велел наблюдать за вами...

— Grundfalsch!2

Виноградовская дубинка обрушивается на рапиру. Гунгер парирует, пытаясь *влепить секунду,* отдергивает шпагу и переводит ее в штосе3.

Виноградов отскакивает. На миг. Вот сбросил с себя камзол, отстегнул бивший по боку кортик и вновь устремляется на противника. Становится весело. С самого Фрейберга не было такой работы. Дубинка над его головой — сплошной свистящий круг.

А кругом — пусто, дико. В семи верстах — Петербург такою же сонной пустыней. Над звонницей — гладким черепком луна. Тени заливают двор. Рядом с ними бело, будто лежат озерца соли. Два человечка смешно прыгают, гоняясь друг за другом, и при каждом прыжке Гунгер отчаянно вскрикивает:

— Таким я образом в России отпотчеван нахожусь?..

*1 Кто там? (нем.)*

*2 Совершенная ложь! (нем.)*

*3 Секунда, штосе — фехтовальные термины.*

**3**

Ныне уж не знаю,

Как на свете жить.

И недоумеваю,

Что болше творить.

…………………….

Ах, трудновато жить...

Так писала императрица Елисавета.

По обоям, вышитым серебряной нитью, проносилась теплая тень листвы. Она мелькала воробьиным клином, оживляя недра оклеенного орехом кабинетца, его слепящий блеском густо-кофейный лак. Зеленые гроденаплевые занавесы тяжело парусили, улетая в раскрытые окна, и солнечная полоса телесного цвета ложилась на резно-золоченую тумбу с часами, на плетенный из камыша стульчик, на голубой кант канапе.

Ныне уж не знаю,

Как на свете жить...

Белая сильная грудь вздымается над глубоким вырезом лифа, И пухлый двойной подбородок прямо, без шеи, переходит в грудь. Перенести б на фарфор, на виноградовский порцелин маленькую Елисавету, ее молочного цвета кожу, пухлый крохотный рот, мешки под глазами, жадный, удивленный выгиб бровей.

Она оправляет пышную робу в шелковых пестрых *пукетах,* берется за колокольчик и стряхивает с него несколько капель певучего звона.

— Черкасова! — бросает она устало, слушает, как в апартаментах рядом цепочкою шепота передается: «Черкасова! Черкасова!» — и ей ясно представляется в лоске паркетов отраженная суета.

— Иван! Напиши указ,— говорит она вошедшему и замершему в поклоне кабинет-министру, напудренному смугляку с дерзкими ленивыми глазами.— Указ, чтоб во время службы в придворной церкви ежели кто будет с кем разговаривать, на тех надевать цепи с ящиками, которые нарочно заказать сделать: для знатных — медные, вызолоченные, для посредственных — белые луженые, а для прочих всех — простые железные. Не то для их нерадивости как бы господь нас еще горше не покарал.

— Ох, матушка, верно! — произносит Черкасов.— Ныне ветра сухие, и рожь засохла, и яровые не взошли. В Москве — разбои, поджоги. Жители в деревни повыезжали, а кому лошадей нанять не на что, живут по пустырям.

— А в Питербурхе чего караульные смотрят? Нищие у меня к самой ограде приходят и газон с цветами весь истоптали. Впрочем, приметила я — ребята их собою не гнусны; видать, они — презабавные твари... Однако вели, чтобы близко подлого народу не было. Также и тех, которые сидят для продажи овощей, отгонять, и сидели б у трахтиру.

— Не изволь тревожиться, матушка, я намедни пикеты велел усилить и нищих к дворцовым окнам не допускать.

Чьи-то мягкие шаги приближаются к кабинету, и на пороге в шлафроке и туфлях на босу ногу появляется Алексей Разумовский, играя своим точеным, неправдоподобно красивым лицом.

— Здравствуй, ваше величество! — говорит он сочным, певучим голосом.— Здравствуй, Иван Антонович! Не взыщи за туалет... А что я, государыня, слышал!.. Шетарди в Париже о тебе разгласил, что ты-де ему по гроб жизни обязана, а он от тебя прежалко обойден остался.

— И без Шетардия ум можно иметь,— вспыхивает Елисавета, надувая губы.— Коли так его наградить, как он мне ту пору служил, То не надеюсь, чтобы ему приятно было.

— Таковы они все, послы,— замечает Разумовский и делает шаг по направлению к креслу.

— Ступай, мой друг,— ласково останавливает его Елисавета,— я тотчас к тебе на половину кушать приду...

— Иван Антонович,— говорит она, провожая Разумовского глазами,— ныне слышим мы, что многие разного звания люди живут распутно. Того ради повелеваем, чтобы все, которые наложниц имеют, сочетались с ними браком.

Черкасов сдвигает брови, в дерзких глазах его притаились испуг и усмешка.

— Еще, матушка, у меня на фарфоровом дворе неладно, Караульные про тебя самое скверно говорить осмелились, да учинилось известно, что они же в царские дни в церковь не ходят.

— Канальи у тебя караульные, государь мой! Немедля про все узнай и мне доложи... К слову сказать, от твоей фабрики я пользы никакой не чаю, потому что денег истрачено на нее немало, а порцелиновых проб не видно. Кажется мне, что ты с мастерами своими меня обманываешь.

— К тезоименитству вашего величества непременно из посуды что-нибудь изготовлено будет. Я прикажу делать *что толще* — *то лучше...*

— Ну, изволь! Только уж без плутостей... Да, вот еще! — Она привстает и говорит быстро, по-ребячески оживляясь: — Уведомилась я через одного шкипера галанского, что есть в Амстердаме у некоего купца в доме мартышка-обезьяна, цветом зеленая и столь малая, что совсем входит в индейский орех. Желательно ее для куриозности к нашему двору достать. И ты без замедления напиши в Амстердам, к секретарю Ольдекопу, чтобы он через того шкипера обезьяну сторговал и купил...

Кабинет-министр выслушивает, наклонив голову, Елисавета отпускает его, грозя пальцем:

— Солдат расспроси без пощаду... Насчет фарфора в последний раз говорю: без плутостей! Чтоб посуда была в срок, и что толще — то лучше. А то мне перед чужестранцами ничем и похвалиться нельзя.

Черкасов уходит. Елисавета зябко поводит плечами, отодвигается от окна и берет со стола лоскуток бумаги. Грудь ее вздымается. Она прижимает к ней пухлую белую ручку, читает:

Ах, трудновато жить!..

**4**

Ах, трудновато жить!..

Особенно если стерты последние признаки крестьянской свободы, если всякий вольный человек, еще десять лет назад обязанный выбрать себе господина, теперь уже не мог найти человека, который взялся бы платить за него подать. Право иметь крепостных было отдано малочисленному дворянству. Кто не успел определиться к помещику из дворян, тех определяло само правительство: ; на поселения в Оренбург, в работу на казенные заводы. Отчаянные пришлые гулящие люди наводнили столицы. Вот почему горелая Москва жила по пустырям...

Ах, трудновато жить!

Особливо если ты караульный солдат и сказано на тебя «слово и дело» *для того,* что ты болтал на фарфоровом дворе, плохо оглядевшись вокруг. Вот теперь возьмут тебя и приступят к изысканию истины, а изыскание это многотрудное и страдальное и по официальным бумагам XVIII века делается так:

«...Для того употребляются: 1. Тиски, сделанные из железа, в которые кладутся злодея персты и свинчиваются до тех пор, пока или повинится, или винт не будет действовать. 2. Наложа на голову веревку и просунув кляп, вертят так, что оный *изумленным* бывает; потом простригают на голове волосы и льют холодную воду, отчего также в *изумление*1. приходит. 3. Висячего на дыбе растянут и, зажегши веник с огнем, водят им по спине, на что употребляется веников три или больше, смотря по обстоятельствам пытаемого...»

Ах, трудновато жить!

Особливо если ты приставлен к делу, которое заезжим плутом приведено в расстройство, к делу, которого, собственно, совсем еще нет, а тебе говорят: «Подавай фарфор!»; если ты станешь биться над белизной, над тонкостью, над тем, чтобы масса свет пропускала, а тебе скажут: «Делай что толще — то лучше: ее величеству надобно что-нибудь крупное поднесть...»

Одно хорошо — Гунгер в отставке. И вскоре после его ухода удалась проба. Мейссенский опыт и суздальская смекалка объединились. Из рук Виноградова вышла первая чашка. На дне ее были накрашены двуглавый орел, жезл Меркурия и условный знак: № 15. Она была выставлена в «магазейне». Ее можно было потрогать рукой.

В пять часов утра рабочий колокол зовет на дневные работы. Но часто и среди ночи сторож долго стучит в окно Виноградова с молитвой:

— Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас!

— Аминь! — раздается наконец.

— Милости просим на работу. Большие горны догорают.

— Слышу! — кричит мастер и вскоре выходит из дома.

Без молитвы сторожа он не проснется. Сторож не уйдет от окна, пока не услышит «аминь».

Вазы, табакерки и чашки возникают на полках «магазейна» и быстро раскупаются петербургскою знатью. Табакерки — в цене.

Их уже окрестили «кибиточками любовной почты». Они лоснятся глазурью, нежной вздорной пестротой пастушков и амуров работы фабричных живописцев за двенадцать рублей и немного муки в год.

Простор — Виноградову? *Команда* поручена ему. Деньги платят исправней, не надо занимать у мастеровых, как прежде... Простор Виноградову? Да нет. Разве те, в императорском Кабинете, дадут человеку вздохнуть?..

Однажды он был у печей, объяснял, как производятся обжиг и просушка.

— Откаливай,— говорил он,— один час на малом огне, один час — большой огонь, и поддувало открыть. При втором обжиге огонь вздувай, пока он так жесток станет, что все будет журчать и шуметь. Через шесть часов порцелин покажется как камень прозрачный, из которого огонь рубить можно. Тогда закрывай печь дня на три-четыре и жди...

— Ваше благородие! — окликнул его Никита.— Там курьер кабинетский приехал. От барона Черкасова — указ.

Виноградов вышел во двор, взял у курьера бумажку и пробежал ее. Это и было *то самое:* «Поспешать к тезоименитству... делать, что толще — то лучше... выйти из нарекания, будто мы ее величество обманываем». Ветер прошел по его лицу.

Глазки его стрельнули. Он смирно ответил:

— К сентябрю непременно из большой посуды что-нибудь приготовлено будет.

А вечером учинил такое, чего никто не мог от него ожидать.

Пьяный, пришел в кладовую, смахнул с полок готовую посуду и, покрошив палкой пастушков и амуров, стал топтать певшие под ногой черепки, крича:

—Барон! Кто тебя сделал? За что произведен? За Шпалерную мануфактуру?! За то, что мастеровых нищими пустил, а народ строения на дрова растаскал?.. Эк тебя вознесло! Командуешь... Ордера посылаешь... «Что толще — то лучше!..» Ты приказывать мне не смей! Все секреты возьму подеру!

Он кинулся к печам, открыл их и стал заливать водою топки. Караульные схватили его и отнесли в каморку. Он продолжал бушевать. Подполковник Хвостов запер его на замок.

Потом он смирился. И когда на вторые сутки ему подали указ: весь курс порцелинного дела передать Никите Воинову,— не удивился, а только поник и написал в Кабинет: «...что до состава и массы чистого порцелина касается, покажу помянутому Воинову верно, так, как я через некраткую практику и понесенные немалые труды сам изучился и знаю». Но прошло еще несколько дней, и он снова напился, опять разнес кладовую и разорвал журнал.

Тогда для отрезвления Виноградова прибыли два кабинет-курьера. Им было приказано отобрать от него оружие и яды и никуда одного не отпускать, «дабы с *десперации* 2. не сделал над собой какого зла».

Но вот на исходе июля, когда липовый цвет сох и благоухал ми крыше лаборатории, один из курьеров доложил Хвостову:

— Господин Виноградов к употреблению не годен.

— Почему так?

— Да пил-пил и выпился из ума.

Тогда...

На создателя российского фарфора, на его хрупкие ручки, нашли управу. Железное средство.

Черкасов велел посадить его на цепь.

*1 Изумленный, изумление — в языке XVIII в.— невменяемый, со­стояние невменяемости.*

*2 В отчаянии (лат.).*

**5**

Сарай был низок и душен. Свежий тес накалялся, по нем текли мутные, клейкие слезы. Можно было только переступить порог и обозревать двор.

По утрам работал: проверял составы массы и глазури, обходил горны. В полдень ему сгибали шею и надевали цепь.

Стоял август; шелковые вечера; ясные, как самый лучший порцелин, ночи. Виноградов, обросший, грязный, сидел на земле у своего порога. Цепь его легко позванивала. В сумерках казалось: притаился большой лохматый пес.

Никита подошел к нему.

— Скучаешь, ваше благородие? — протянул он участливо одною своей утробой.— Чаю, несладко тебе.— И присел на корточки, тряхнув волосами, тотчас сомкнувшимися в мягкий литой круг.

— За что я ни примусь,— заговорил Виноградов,— то все у меня из рук вон валится, а в мыслях такое страшное вселяется, что и не знаю уж, чего себе ожидать. Команда у меня вся взята... Меня грозят вязать и бить безо всякой причины!..

Глаза его вдруг заблестели, он стал на колени и, колотясь в землю лбом, закричал:

— Никитушка! Ступай ты к Хвостову! Скажи ему, я-де браню бога и государыню! Пусть меня в Тайную канцелярию возьмут!..

— Что ты, ваше благородие, спятил? Не дай господь — услышат. Нешто не знаешь, что с нашими караульными было?

Виноградов сел. Две грязные струйки ползли по его щекам и подбородку.

— Все лучше, чем тут...

— У тебя вон цепь легка, а ныне цепи на заводах с *рогатинами* стали.

— Это что ж?

— А так: ошейник вроде, как твой, только с железным боталом. Чуть шевельнешься, а ботало-то тебя по хребту, по хребту.

Тени затопили двор. Потянул холодок. Луна взошла над пустыней.

Из-за угла главного здания показалась фигура. Рослый, грузный человек шагал меж строений, по-солдатски кидая рукой на ходу,

— Глаза б мои не глядели...— сказал Виноградов.— Поди попроси его. Скажи, у меня, мол, в каморке книжка есть, «Анакреон» зовется. Пусть выдаст.

Никита встал, пустился наперерез и быстро нагнал Хвостова. Беседы не донеслось. Но подполковник закончил громко — было слышно за околицей и на тракте:

— Безо всяких окружностей — отказать!..

Малый вернулся, виновато развел руками и вдруг вспомнил:

— А я тебе хлебушка принес. Вот ведь чуть не позабыл. Возьми-ка.

— Не хочу,— ответил Виноградов.— Не надо...

Тогда Никита не выдержал, повернулся и побрел, сугорбясь, ревя в три ручья...

Луна шла над пустыней.

Виноградов вспоминал Москву, Фрейберг, драки в кабачках, Михайлу...

...Ломоносов будто бисерную фабрику завел... Ну что ж, просил ведь его: будешь во времени — меня вспомяни. А вспомянет?..

Внезапно рванулся: бежать! бежать! Цепь натянулась, ошейник врезался в шею. Тогда он стал на четвереньки, поднял кверху худую, острую мордочку и завыл.

Луна шла над пустыней.

Спал и видел во сне бисерную фабрику Ломоносов.

Спал и ничего не видел во сне Хвостов.

Бурые змейки, вихрясь, разгуливали по пустырю. Сидел на цепи Виноградов, смеялся и плакал, выл на луну, как собака. В печах медленно созревали цветы на обжигаемых чашках. Сидел на цепи Виноградов, смеялся и плакал, ругался по-русски и по-немецки.

Очень сожалел, что не знает еще другого языка.

**ГЛАВА СЕДЬМАЯ**

**I**

Невод рыбак расстилал

по брегу студеного моря.

И вовсе не сам расстилал, а его крепкая, большая артель.

Отрок, оставь рыбака!

Рыбак и сам был не прочь, чтобы отрок его оставил. С хитрой опаской выпустили птенца Холмогоры. Это было общее дело, и соседи снабжали «беглеца» деньгами. Кто его знает? — может, птенец завоюет мир?

Слезно выпрашивал «для своих крайних нужд сколько заблагорассудится». Получил *пять* рублей из книжной лавки.

«Я сделал прекрасные опыты в мозаике, чем приобрел себе честь, поместья и милость».

«Жена его находится в великой болезни, а медикаментов купить не на что».

Четыре у него деревни и тысяча десятин земли.

«Четыре у меня деревни,— писал он Эйлеру, хвалясь своим успехом и достатком,— императрица пожаловала мне в Ингерманландии 226 душ с 1000-ю десятин земли».

Теперь он занимал почти весь бонновский дом. В трех покоях обитали жена, пятилетная дочь и шурин Иван Цильх. В крайней каморке ютился беспутный жилец, лаборант Бетигер, буян и гуляка.

Стоял июль. Вдали при ясном небе начиналась гроза.

Ломоносов в шлафроке, с раскрытой грудью, сидел за столом. Письмо к Эйлеру и рукопись «Российской истории» были прикрыты «Ведомостями» с отчеркнутым столбцом. В углу поблескивала на солнце электрическая машина.

«Господин Франклин,— читал он,— столь далеко отважился, что хочет вытягивать из атмосферы тот страшный огонь, который часто целые земли погубляет».

Он фыркал, с досадой мотал головой и бормотал:

— В теории моей о причине електрической силы в воздухе я господину Франклину ничего не должен. Я причину сию произвел от погружения верхней атмосферы, из наступающих великих морозов, то есть из обстоятельств, на родине Франклина неизвестных... Сверх того, о сходстве между северным сиянием и кометными хвостами я уже за много лет мыслил и разговаривал. Ода моя о северном сиянии сочинена в семьсот сорок седьмом году...

Вошла жена Елизавета, рыжая, располневшая; половицы гнулись под нею. Села у окна, втягивая в иглу нитку.

— Lenchen, wo bist du? 1. — прокричала она во двор и принялась за шитье.

Он прислушался.

— Кузнечик кует — нас с тобой выживает. Слышишь?

— Was ist das — кузнетшик? — Она упорно не хотела говорить по-русски. И опять: — Lenchen, wo bist du?

Куском впадало в окно синее, полное зноя и грозы небо. В углу на двух кирпичах стояла стеклянная банка с медными опилками. От металлического прута шла выведенная на крышу проволока. Железная линейка с шелковой нитью висела отвесно. Внезапно нить отскочила, из линейки с треском посыпались светлые искры, и некоторое время с нее наподобие синей ниточки стекал свет.

— Гляди! Нитка за рукой гоняется! — воскликнул Ломоносов, подходя к «машине» и растопыривая пальцы.

Подошла и она, тоже потянулась к линейке и тотчас отпрянула, ощутив сильное сотрясение в руках.

— Dummer Spass!— сказала она с сердцем.— Also konnen verbrannt werden! 2.

— Что ты знаешь?.. Да для сего и сгореть не жаль... Вижу теперь, что с помощью железных прутов у туч огонь отнять можно...

— Dummer Spass! — повторила Елизавета.

— Ну, полно! — сказал он и направился к двери.— Ежели кто придет, то я в лаборатории.

Шея его была согнута. Он разозлился.

— Bald verden wir mittagessen! 3 — резко прозвучало ему вслед.

Она стояла на участке, прибавленном к ботаническому двору, приземистая, скромная, похожая на склад провианта. В большой ее половине был очаг с кожухом и трубой, укрепленной на четырех железных болтах между потолочными брусьями. Меньшую занимали шкафы и полки с книгами, инструментами и разными материалами. Стол для записи опытов упирался в синюю кафельную печь.

На полу при входе два ученика тянули и прошлифовывали мозаичную массу. Пухлый белокурый Иван Цильх вертел мельницу для растирки красок. Солнечный зайчик прыгал по цвет­ному стеклу. Слепили медные капельформы, пирометр, гуляло на ветру окно, и чашки деревянных весов вступали в спор между собою.

— Здравствуй, Михайла Васильевич! — раздался мягкий, степенный голос, и на Ломоносова уставилось иконописное лицо с обтянутыми желтой кожей скулами.

Крашенинников.

— Друг! Ты-то здесь по какому делу?

— Господа профессоры послали.— Взгляд у Крашенинникова был рассеянный, жалкий.

— Ты что не в себе?

— Да горе мне все перебивает. Ты вот, коллежский асессор, .1 я кафедры никак не достигну. Сам нахожусь в болезни, и жена и дети больны.

— Выходит, что на Камчатке лучше было?

— Лучше. Ведь я тогда молод был. Да и обозрение новых земель любопытно... Много повидал я... Жемчужные и соболиные промыслы; горы, выгоревшие до самой подошвы; китов, трущихся о берег спинами, стирая раковины, которые к их коже прилипли, и жителей острова, бьющих их стрелами, намазанными соком лютиковых корней...

Крашенинников говорил — как и писал — гладко. Слог его был на редкость чист.

— Ну, а ты? — спросил он.— Каково успеваешь?

Вдали звучно, весело загремело, но небо по-прежнему было ясно: Ломоносов взял со стола журнал и проговорил:

— Вот, записано. Изобрел я способ к сысканию долготы и широты на море при мрачной погоде (в практике исследовать сего без Адмиралтейства невозможно). Делал опыт машины, кото­рая, поднимаясь кверху сама, могла бы поднять маленький термометр. Слово о електрических явлениях сочиняю, да еще «Историю» велят писать, чем я весьма отягощен.

— А ведомо тебе, что и Рихман в крайней нужде находится? Долгами обременен сверх меры и так духом пал, что опасно, как бы чего над собою не сделал.

— Ну, я его ободрю. Может, Шувалов дела ему поправит. И тебе я, Степан Петрович, помочь готов.

— Спасибо... А профессоры меня вот с чем прислали,— он протянул Ломоносову свернутую трубкою корректуру.— Тут заглавный лист «Ежемесячных примечаний». Граф Строганов статейку дал для журнала и торопится ее в печати видеть, а Миллер сказал, что ты сему остановку делаешь... Да вот, гляди-ка, граф и сам сюда идет.

Сухопарый юнец, придворный балагур и модник, играя тростью, вошел в лабораторию.

— Для чего ты «Примечания» ценсуровать не хочешь? — произнес он, задирая маленькое напудренное лицо.

Наступила тишина. Иван Цильх и ученики оставили работу.

— Сие название при дворе весьма раскритиковано,— ответил Ломоносов.— Ежели назвать книгу «Санктпетербургскими штанами», то сие таково ж уместно будет, потому что туда и стихи вносить станут, а стихи — не примечания.

— Так...— Строганов крутнулся на каблуках и завертел тростью.— Господин Миллер еще просил за твоего лаборанта. Почему ты его уволить намерен?

— Да пьяные его гости ворота ломают.

— Так... Но слышно, что лаборант и сам, без тебя, мозаичное дело отправлять может. Мне желательно его сейчас испытать.

— То оскорбительно и неприлично было б. И притом, ваше сиятельство, команды надо мной не имеете.

— А ежели я лаборанта кликну?

— Тогда я ваше сиятельство попрошу выйти вон.

— Так!.. Мужик! Недворянство свое показываешь?!

— За обиду мог бы я требовать от вас *удовольствия* 4., но прощаю ради вашей молодости...

Крик во дворе оборвал ссору. Вбежал человек без шапки, размазывая по лицу слезы.

— Профессора Рихмана громом зашибло! — выдохнул он.— Помер профессор Рихман!..

Ломоносов — как был неодетый, в шлафроке,— кинулся на улицу. Крашенинников — за ним.

Рихман жил близко, на углу Большого проспекта и Пятой линии.

У дверей дома стоял пикет. Полутемные сени были полны дыма. На голой скамье лежало тело. На лбу Рихмана, там, где обычно катался тонкий клубок, синело пятно.

В стороне шептались Теплов и асессор Тауберт, долговязый, в тугих рыжих букольках. Завидев Ломоносова, он проговорил:

— Для чести Академии прошу вас не разглашать об этом,— и потряс своей жесткой охряной куафюрой.— Есть основания думать, что господин Рихман покончил с собой столь странным способом... При таких обстоятельствах «Слово о явлениях електрических» нельзя произносить...

*1. Аленушка, где ты? (нем.)*

*2. Глупая шутка! Эдак мы сгореть можем! (нем.)*

*3 Мы сейчас будем обедать! (нем.)*

*4. То есть удовлетворения.*

**2**

Босоногая челядь сновала в толпе гайдуков, задевая лохмотьями их голубые, с серебром казакины. Шуваловские скороходы отгоняли ее булавами. Подкатывали кареты с точеными стеклами, запряженные цугом крупных лошадей, с кучерами в пудре, и гости по дощатым мосткам проходили в дом.

В зале с окнами на Невскую проспективу играли в карты два старика: рыжий силач лакей, некогда спасший Шувалову жизнь, и сухонький француз-камердинер — пенсионеры. Над ними висела картина: швейцарский пейзаж с каретой над пропастью и белым как мел седоком; громадный лакей поддерживал карету плечами.

Хозяин вышел к гостям, держа в руках *иконостроф* — гравировальные очки, показывающие рисунок в обратном виде.

— Прошу извинения,— произнес он, потирая худые белые пальцы и морща лоб.— Обнюхался цветами — голова болит, и притом я только что гравировать окончил.

Седой горбатый вельможа в андреевской ленте, притворно сердясь, постучал палкой в пол:

— Я тебе дочь привез показать, а ты пустяками занят. Ну, взгляни-ка!

— Прелесть! — сказал Шувалов.— Да вот прическа как будто высока.

— Я и то у себя в доме велел двери сделать выше, чтобы она как-нибудь головою не увязла...

Почти одновременно вошли Ломоносов и бригадир Сумароков, прямо, по-военному несший грудь, с высоким лбом и лицом надменным, будто выточенным из дерева. Кафтан его был запачкан мудрою и табаком, который он то и дело доставал горстями, обильно посыпая свои кружевные тонкие манжеты.

— А! Вот и они! — сказал, припадая на палку, седой горбун.— Я ведь затем лишь и приехал, чтобы их послушать.

— Если они не совсем трезвы бывают,— тихо ответил Шувалов,— приходится высылать их вон, но когда помирятся, то оба очень приятны.

— Каково в гравировании успеваете, ваше превосходительство? — спросил, подходя, Сумароков.

— Представь, друг, весьма. Говорят, можно ожидать от моего резца большой чистоты.

— Учитель ваш как будто из мастеровых?

В беседу вмешалась гостья, занявшая целый угол своей юбкой на китовом усе, розовая купчиха с мушкой на лбу, похожая па улитку:

— Иван Иванович! Да что он, пустой человек, говорит? Неужто кровь твоя позволяет водить знакомство с мастеровыми?

— А что ж тут худова?

— И ты знаешься с ними? — обратилась она к Сумарокову.

— Конечно, сударыня.

— Не подлость ли это? Да и ты сам не хамов ли внучек?.. Тут появившийся дворецкий с салфеткой в руке доложил: «Кушанье поставлено!» — «и хамов внучек» двинулся в другую залу...

На круглом столе красовалось плато, изображавшее помещичий двор; по краям его стояли фарфоровые амурчики и пастушки. Между приборов лоснились от многосвечных жирандолей саксонские вазы со льдом и бутылками. Арапы и лакеи стояли за стульями, множество скороходов толпилось у дверей.

Аршинная стерлядь лежала рядом с кабаньей головой в соусе из говяжьих глаз, называемом «поутру проснувшись». В середине плато тугою пирамидкой возвышались фрукты, и свисал из корзины шершавый астраханский виноград.

Ломоносов (в темно-зеленой немецкой паре, обложенной золотом галунчиком) был хмур и рассеян. Шувалов подошел к нему:

— Я хочу, чтобы ты под свой портрет стихи подписал. Ломоносов взглянул на него твердыми янтарными глазами.

— Я отнюдь того не желаю и стыжусь, что я награвирован.

— Вот пустое!

— Нет, Иван Иванович! Не пустое!.. И притом что вы мне! предлагать изволили — науки покинуть,— я, пожалуй, согласен.

— Да что с тобою?

— Униженно прошу, чтобы вашим ходатайством был я от Академии взят и переведен в другой корпус, всего лучше — в Иностранную коллегию. Хочу найти место, где реже мог бы видеть персон высокородных, которые меня низкою моей природой попрекают.

— Да я ничего в толк не возьму!

— Господа Теплов и Тауберт помыкают мною... Умер профессор Рихман, и сей случай против наук толкуют... Данными мне терпением и талантом я из крайней бедности вышел и того не забываю, но граф Строганов изволил попрекать меня недворянством.Впрочем, сие я к его молодости причел.

— Отлично, друг мой, сделал, и полно об этом! Лучше потолкуем с тобой об университете. Что, сочинил ты план?

— Сочинил. Весьма рад, что объявленное мне словесно подлинно в действо намереваетесь произвести.

— Каков же проект твой?

— Учредить надо университет на манер Лейденского, дав ему те же, что и за морем, вольности.

— Это вряд ли возможно, да и Сенат не допустит.

— Без сего нельзя университету быть...

— Ну, а много ль профессоров у тебя для философского факультета?

— Шестеро.

— И троих хватит. А какие наметил классы?

— Философии, оратории, поэзии, истории, древностей и критики.

— А геральдика, друг мой, где же? Геральдику позабыл...

Стучали ножи. Раскатывались по паркету лакеи. Чихал, забив ноздрю табаком, Сумароков, и болтали гости, разогретые ледяным вином.

— В Вене после супу едят дыни,— раздавалось за столом.— Вот вам и новая ягода...

— Были ли вы в кунсткамере?

— Ах, мне там ничуть не понравилось!

— Много ли *душек* изволили продать в этом году?..

Седой горбун, нетерпеливо пожимая плечами, сказал хозяину:

— Не пойму, почему они не ссорятся?

Шувалов усмехнулся и, постучав ножом о тарелку, произнес:

— Сейчас наши славные сочинители стихи прочитают.

— Нет, увольте! — заявил Сумароков.— Я при Ломоносове читать не стану.

— А ты, Михаила Васильевич?

— Ежели, ваше превосходительство, того хотите — могу.

Он привстал и, отдав свечному блеску гладкое, широкоскулое лицо, начал о «возлюбленной тишине» сильным, звучным голосом.

Мешал разговор. Слушали плохо, дожидались ссоры.

Молчите, пламенные звуки,

И колебать престаньте свет.

Здесь в мире расширять науки

Изволила Елисавет...

Все шло хорошо, пока он не произнес строки: «В градском кругу и наедине».

— Наедине! — крикнул Сумароков и хватил по столу ладонью.— Сила не тут! Ударение неверно!

— Да, ударение, коим ты со стола наклейку отшиб, вернее,— заметил Шувалов.

А Ломоносов сел, шумно отодвинув стул.

— Господин Сумароков,— сказал он с презрением,— сочиняет любовные песенки и тем только и счастлив.

Соперник не унялся:

— У него еще в другом месте сказано: «быстро».

— Господин бригадир не в полном разуме. Быстро или быстро, однако это не остро и не остро.

Сумароков вскочил.

— Это *он* часто с ума сходит, что всему городу известно. Кроме холмогорского наречия, ничего не знает.

— Не верьте ему, ваше превосходительство! Он всегда вас обманывает.

Теперь они уже оба стояли, красные, со сжатыми кулаками, разделенные только столом.

Горбатый вельможа трясся от смеха. Не жалели о своем приезде и прочие гости.

Хозяин, притаившись за спинкой кресла, шептал Сумарокову:

— Не уступай!..

Ломоносов заметил.

— Вот как?! — прошипел он, подступая к Шувалову.— Все, все понятно!.. Тешить тех, кто сводит нас, как петухов, не стану!.. Ваше превосходительство, имея случай служить отечеству помощию в науках, можете лучшие дела производить!.. Вы довольно знаете, что я не люблю Сумарокова, и скажи вы мне: «Помирись с ним!» — я бы того не сделал. А теперь — глядите!.. Александр Петрович! Бог не дал мне жестокого сердца, как иным людям знатным. Зла тебе не желаю. Мстить за обиды не думаю...

И, потрясши засыпанную табаком руку, выбежал вон.

**3**

— Господин Теплов всею Академией поворачивать хочет? — говорит Ломоносов.— Мало ему того, что Делиля из России выгнал, профессора Вейтбрехта отставкой уморил?..

Конференция обсуждает новый регламент.

Заседают по чину: Теплов — «под Шумахером, в первом месте», далее — Тауберт, Миллер, Штелин, Ломоносов. Тредьяковский ведет протокол. Высокие окна расчерчены переплетом, как в каземате, и зеленое поле стола нагрето солнцем и расчерчено в клетку на косо сдвинутый ряд.

— «...Канцелярия,— читает Теплов,— есть департамент, в котором члены, разумея должность всех чинов в Академии, могли бы в небытность президента и сами всем корпусом управлять...»

— С прочитанным пунктом я не согласен! — кричит Ломоносов.

— Вам желательно отнять власть президентскую?

— Желаю, чтобы общим согласием всегда все производилось. Мы все смертны. Да и президент не господь бог.

Все смотрят на Шумахера, но он молчит, дряхлый, пепельно-серый, с дрожащими веками.

Голова Тауберта повернута к Ломоносову.

— О его сиятельстве можно было б почтительней! — И подражая советнику: — Nicht so hoh!..

— Чужие повадки перенимать изволите? И так известно, что вы советника Шумахера дочери и дел и чуть не Академии наследник.

— Каковы выражения! — восклицает Миллер. А Штелин машет руками на обоих:

— Полно вам! Не препятствуйте господину Теплову читать!

— «...В канцелярии должно иметь секретаря, актуариуса, комиссара, регистратора, купчину и лекаря с подлекарем...»

— Чиновно поступать хотят,— язвит Ломоносов.— Диво, что в Академии музыки нет... Да советник Шумахер танцевать не умеет.

Ледяные глаза округляются. Советник произносит чуть слышно:

— У вас хороший ум, и вы бы высоко стояли по своей науке, когда бы притом оставались вежливы.

— Господин Ломоносов лишь то жалует, что сам сочинить изволит,— говорит Теплов.

— Нет, увольте! У меня и без того довольно дела.

— Чем же вы так отягощены? — спрашивает Миллер.

— Новую теорию о цветах сочиняю и письмо о ходе Северным океаном в Индию.

— Уж не думаете ли вы достигнуть полюса?

— Именно.

— Но это невозможно по причине твердо стоящих льдов.

— Твердо стоящие льды есть лишь *упрямка* академического собрания. На деле же имеется открытое полярное море. Я давно бы то доказал, когда б не оставил за недосугом, как и многое иное.

Теплов стремительно поднимается:

— То есть в науке своей более трудиться не можете?

— Не могу, затем, что «Историю» пишу...

— «...О старшинстве чужестранных членов перед русскими,— снова продолжается чтение.— Предложение асессора Тауберта. Параграф седьмой первой главы...»

— Сие вовсе не основательно,— замечает, кладя перо, Тредьяковский.— Если кто у себя на родине славен в своем искусстве, так ли сразу ему и старшинство давать?

— Резон! — подхватывает Ломоносов.— А всего лучше б гимназиюв порядок привести да своих студентов производить.

— О гимназии полагаю так,— заявляет Миллер,— надо отделить благородных особ от учеников подлого звания и обучать их особо.

Ломоносов отодвигает кресло и выходит из-за стола.

— Прошу записать, что я при сем предложении покинул собрание.

Он идет к дверям. Теплов перехватывает его на дороге:

— Прежде, чем удалиться, извольте прочитать вот это.

И подает повестку — приглашение на придворный маскарад.

Ломоносов пробегает ответы академиков. Вот рука Штелина: «Быть не намерен»; покойного Рихмана: «Absentiam excusatam rogo»1.; Миллера: «Не намерен»... Крупно, разгонисто пишет: «Быть намерен и с женою», пускает лист по воздуху, чуть не в лицо Теплову, и покидает конференц-залу.

— Господин Тредьяковский! — потирая руки, говорит Теплов.— Извольте записать в протокол, что профессор Ломоносов в своей науке трудиться более не может.

— А для чего, государь мой, сие писать?

— Он сам нам то объявил. Мы выпишем доктора Сальхова для занятия кафедры химии.

— А что — «своих производить»? — злобно произносит Тауберт.— Разве нам десять Ломоносовых надобно? И один нам в тягость.

— Я великую ошибку сделал, что допустил его в профессоры,— говорит Шумахер и все больше сутулится, горсткою пепла вот-вот рассыплется по столу.

*1 Прошу извинить отсутствие (лат.).*

**ГЛАВА ВОСЬМАЯ**

**I**

В Летнем саду (у Зеленого моста) дует перспективный зрительный сквознячок. Это — роскошный, слепящий блеском курятник.

Сквозные ясные залы до самых глубин открыты глазу, настежь открыт для приемов *двор* восемь месяцев в году.

Съезжаться было велено в седьмом часу в *доминах* и масках, в маскарадных платьях, каких кто хочет, кроме пилигримского и деревенских. «А кто не дворянин,— стояло в повестке,— тот бы в оный маскарад не дерзал».

Двигался поезд карет, похожих на веера. Из них появлялись распудренные головы, плисовые камзолы, лосиные в обтяжку чикчиры. Дамы в атласных робронах сходили по каретным крылечкам. Стройные гвардейцы смотрели, чтобы не было народу, в серых и простых кафтанах; любопытных короткими пинками отсылали прочь.

В зале овальной формы было отгорожено решеткой место для танцев. Гостям предоставили на выбор: оставаться в масках или же снять их. В восьмом часу искра побежала по пороховым нитям, натянутым между бронзовых жирандолей, и двадцать иллюминованных комнат вмиг засияли; обильный свет вдребезги разбился о полы красного дерева, о лак мебели и деревянные стенные панно.

Ломоносов явился один, без жены. (В овальной зале императрица уже дважды успела проплясать русскую.) Курносый завитой паж встретился ему в галерее нижнего апартамента. Он скорчил коллежскому советнику рожицу, высунул язык и прокричал:

— Тучи рукой отводил, бог тебе нос и перешиб, потому и Ломоносовым называешься!

Крепкая рука схватила его за ухо и, повозив, дала тумака в спину. Мальчишка с плачем пустился по галерее. Ломоносов хлопнул в ладоши. «Я тебя выучу!» — бросил вдогонку и, веселый, с разлетевшимися полами домино, прошел в залу.

Омёты хвостатых роб вертелись на полу, как змеи.

Мелькали парики, мундиры, высокие кауфюры с лентами в виде рожков и мельничных крыльев.

Раскрасневшаяся, с волосами, собранными в пучок, проплыла Елисавета.

Она опиралась на руку Шувалова и твердила:

— Я только и счастлива, когда влюблена...

Проследовал французский посол Лопиталь с графом Воронцовым.

— Вы поверить не можете,— говорил Воронцов,— как в Париже мало о нас сведущи. Причина этому та, что почти никого из дворянства вашего у нас не бывало, но лишь самые *подлые* и бедные, которые только худые мнения о нас подавали. В Париже думают, что французу здесь надобно умереть с голоду. При малом понятии о других землях эти мнения у вас трудно искоренить...

— С повышением вас! — раздался подле Ломоносова насмешливый голос, и в толпе мелькнула тонкая талия Строганова.

— Вернее — с отставкою,— прозвучало откуда-то сбоку, но говорившего мгновенно скрыл сомкнувшийся, как вода, маскарад.

В углу, окруженный кольцом кавалеров и дам, стоял Тредьяковский.

Покинь, Купйдо, стрелы!

Уже мы все не целы,

Но сладко уязвлены

Любовною стрелою

Твоею золотою...

Василий Кириллович покачивал в такт круглой головкой. Скудная косица на затылке уложена в кошелек.

Прошел Кирилла Разумовский, внимательно слушая шамкавшего отставного генерала.

— Господин Рихман,— говорил собеседник,— старался об удержании грома и молнии, и случилось с ним, как в древности с афинским стихотворцем Есхилием. Сей муж также познал убиение себя через астрономию, потому что, выйдя из города, сел в пустом месте и глядел кверху. Орел же носил в воздухе черепаху, ища камня, на чем бы разбить. А у Есхилия глава была лыса... И паде черепаха ему на главу... Таков же конец и мудрствованию сего Рихмана...

— С отставкою вас! — снова раздается вблизи Ломоносова. Он с яростью оглядывается. Опять — никого. И вдруг замечает в стороне Теплова.

— Это вы, ваше высокородие, столь непристойно шутить изволите?

— Не возьму в толк — вы о чем?

— Якобы об отставке моей.

— Ничего такого не слыхивал.— Теплов вытирает платком темный выпуклый лоб и лукаво блестит глазами.— Мне известно лишь, что вам не велено быть в собраниях. От вас отнимаются Географический департамент и профессия химии. Вы же сами сказали, что таковую более не можете отправлять...

Уже мы все не целы,

Носладко уязвлены,—

бисирует Тредьяковский.

Ломоносов делает крутой поворот и встречается с президентом.

— Ваше сиятельство лишаете меня .профессии химии или же слух сей до маскарадных дурачеств отнесть должно?

Разумовский не отвечая проходит, надувая пухлые — кувшинчиком — губы.

— Прикладывайте к пяткам сырые тыквы,— шепчет, пробегая, Строганов,— сие для бешенства весьма хорошо...

Шувалов с недовольным видом, сведя косые брови, приближается к Ломоносову.

— Ты что ж это? — говорит он, шевеля отвислой губой.— Забыл, в каком месте находишься? Пажей за уши драть вздумал?

— Ваше превосходительство...

— Не изволь трудиться! Президент о тебе слышать не хочет. Ты под его власть подкопался.

— Сие подобно известному петербургскому приключеньицу, то есть тому, что «мир обманываться хочет»...

— Мы тебя совсем отставим от Академии! Янтарные глаза смотрят в упор, не мигая.

— Меня нельзя от нее отставить, разве Академию отставите от меня...

Тут ему больше нечего делать. Грубо расталкивая толпу, он идет к выходу. Курносый паж, завидя его, отбегает в сторону. «Уже мы все не целы...» — вспоминается с горечью. И строка застревает в ушах...

Теплая летняя ночь. Шлюпки скользят по Неве. Слышна роговая музыка. Бастионы крепости — в цепях плошек, окантованы огнем.

Тишина. И вдруг — возня караула. Кого-то бьют.

Слышно, как тесак выбрасывается из ножен, и высокий испуганный голос кричит:

— Слово и дело!..

Ломоносов идет по набережной. Свежо пахнет вода. В нее вонзается стрела Адмиралтейства.

«Уже мы все не целы... Любовною стрелою, твоею золотою...»

Петербург!

Петербург!

CANCELLARIAE MEDICAE

АСТА

CUM OCULISTO JOSEPHO H1LMERO

МЕДИЦИНСКОЙ КАНЦЕЛЯРИИ

ПОСТУПКИ

С ОКУЛИСТОМ

ИОСИФОМ ГИЛЬМЕРОМ

Под таким названием в 1751 году в Петербурге вышла книга. Ее издал в свое оправдание директор Медицинской канцелярии Герман Бургаве. Она была отпечатана на превосходной бумаге, в две колонки. Текст ее представлял описание одного печального петербургского «приключеньица», как бы собрание подписей к *картинкам,* которые в книге отсутствовали.

**ПОДПИСИ К КАРТИНКАМ, КОТОРЫХ НЕТ**

1. Вот едет по Невской проспективе доктором себя называющий Иосиф Гильмер. Маленький, щуплый, с сухим костяным носом и тяжелыми, совиными веками. На стенке кареты — надпись: «Mundus vult decipi», то есть: «Мир хочет обманываться». Высоко, чтобы всем было видно, Гильмер держит просверленный солнцем, сделанный из стекла глаз.

Два лакея идут по бокам, трубя на валторнах. Два лакея идут впереди, раздавая печатные листы, на которых написано: «Я приехал. Могу лечить *очные* болезни как рукою, так и надежными средствами, возвращая слепым зрение; также продаю курительный порошок от глухоты».

2. Доктором и профессором себя называющий Иосиф Гильмер показывает свое искусство членам Медицинской канцелярии. Все они в ужас приведены, каким отважным образом он действует и глазу иглою, отчего самые субтильные частицы неминуемо должен повредить.

Окулист объясняет, что вся его отважность происходит от особой, похожей на миртовый лист, иглы с осьмигранною ручкой; просит позволения делать операции и лечить лекарствами и оставляет в канцелярии несколько проб.

3. Вот — директор Герман Бургаве, человек тучный, с больным сердцем.

Доктором, профессором и философом себя называющий Иосиф Гильмер объясняет, что его девиз значит: мир хочет обманываться, то есть верить, а вера одна уже лечить может. Гильмер советует Бургаве не чинить ему в Петербурге препятствий и намекает, что у него имеется высокий патрон при *дворе.*

4. Вот — солнце над крышами, которого не видят слепые.

5. Иосиф Гильмер разъезжает по улицам, уклоняясь от посещения особ знатных. Делает свое дело над бедняками, берет деньги и спешит в другое место.

Но мир хочет обманут быть!

6. Больные лежат в постелях и не прозревают.

Вот медник Юнгман. У него на глазах были *жемчужинки.* Гильмер срезал их и дал порошок, который подействовал так, как если бы кто хотел у арапа стереть добела кожу.

У шкипера Никиты Логинова извелся правый глаз. Гильмер дал мазь, и оба глаза *зажглись* несносно.

Гончарская жена Прасковья Афанасьева имела в глазах *темную воду.* Натирала спиртом — не помогло нисколько.

Но мир хочет обманут быть.

7. Члены Медицинской канцелярии рассматривают оставленные Гильмером пробы:

«Глазной его порошок не что иное как сахар-леденец и препарированная туция»1..

«Мазь от падучей болезни сделана из чистой киновари».

«Курительный порошок от глухоты — из белого и желтого янтаря».

8. Члены Медицинской канцелярии запрещают окулисту производить операции:

«Мы, доктора и лекари, вас, Иосифа Гильмера, изъявляем за скитающегося емпирика и шарлатана, который ухватки свои над бедными людьми показывает как если бы на ярмарке из *кармана играл»* 2.

9. Санктпетербургская полиция ходит по домам, составляя реестр оперированных.

Иосиф Гильмер, несмотря на запрещение, пополняет реестр.

10. Вот дворцовый камер-лакей Михаила Шаплинский после операции. От сильной боли он раздирает под собой простыню и кричит, что, будучи ранен в Полтавской баталии, не терпел ничего подобного.

Гильмер снимает с него повязку, растирает перед глазами каплю нашатырного спирта, велит различить шляпу, цветы, табакерку и, наконец, ухватить его самого за нос.

11. Герман Бургаве получает донесение из Лифляндии:

«Я, нижеподписавшийся, сим свидетельствую, что проехавший через здешний город доктор Гильмер, рассеяв в народ печатные листы о искусстве своем в возвращении слепым зрения — у 67-летней матери моей Анны Кристины вместо левого глаза операцию учинил над правым.

Нотариус города Пернау *Андрей Гарриэн».*

12. Полиция подает в Медицинскую канцелярию объявление: «Гильмером ослеплено множество людей, потому что он у них в глазах весьма *рыл».*

13. Иосиф Гильмер просит у Бургаве позволения отъехать в Москву для практики. Директор удивляется его бесстыдству, говоря, что ему больше о выезде из государства надлежит думать. Гильмер грозит, что будет просить в высочайшем месте; Бургаве велит посадить его под домашний арест.

14. Окулист пишет Бургаве угрожающее письмо:

«Ваше превосходительство, думаю, не по-турецки поступите и долго меня под караулом дер­жать не будете. По крайней мере известие дайте, куда мои люди взяты и для чего мои бессловесные лошади голодать должны. Ежели через это мое последнее прошение к завтрашнему дню не увижу от вас лучшего, то на шею вашего превосходительства пошлю божие отомщение, которое мне, бедному, поможет, а вас, конечно, найдет».

15. Гильмер и жена его готовят пистолеты, насыпая на курки порох и пробуя кремень при спуске на полку, потому что из Иностранной коллегии присланы подорожная и четверо солдат для провожания за рубеж.

16. Вот объявление из «С. Петербургских ведомостей»:

«Находящийся здесь прусский надворный советник и доктор Гильмер едет отсюда за море, чего ради ежели имеет кто до него или его служителей какое дело, то сыскать его могут на Адмирал­тейской стороне в Большой Морской, в доме портного Кригера».

Но мир хочет обманут быть!

17. Герман Бургаве получает резкое письмо от высокой особы. Особе известно, что директор канцелярии чинит окулисту помехи, будто бы желая получить взятку.

С дома, где живет Гильмер, снимают караул.

18. Герман Бургаве пишет свои оправдания:

«Гильмер в разных местах Европы себя шарлатаном оказывал. Когда бы я ему не препятствовал, он давно бы уже и в Москве свой *театр* поставил...»

Иосиф Гильмер посещает перед отъездом пациентов, оставляя им gratis3. курительный порошок от глухоты.

19. Божие отмщение находит шею его превосходительства. Герман Бургаве, человек больной и тучный, умирает от разрыва сердца.

20. Вот — солнце над крышами, которого не видят слепые.

21. Вот — город, в котором это все произошло.

*1 Туция — металлический налет в трубах плавильных печей.*

*2 В шулерской игре «карман» — раздвоенная карта.*

3 Даром, бесплатно *(лат.).*

**2**

Петербург! Петербург!

Давно ли петровский генерал-полицмейстер Девьер приказывал, чтобы по улицам «никакого скаредства и мертвечины не валялось»? Давно ли нищие бродили толпами, а за подачу им милостыни взималось по пяти рублей штрафу?.. Правда, еще дикий, сырой лес надвигался на город, но уже ряд блестящих кварталов оттеснял пустыню и стройно развертывали фасады растреллиевские дворцы.

В лесах за речкой Фонтанной укрывались «разбойники». Ночью через шлагбаумы пропускались только военные, знатные господа, священники и лекари — все с фонарями. «А из подлых ежели два и три человека пойдут, хотя и с фонарями, и тех брать под арест».

Но уже заселялись окрестности: по Неве, к Шлиссельбургу основывались немецкие колонии; к Петергофу и Царскому Селу — «петербургской Версалии»,— усыпанные отесками дикого камня, протягивались шоссе...

Невская проспектива — бульвар с дощатыми мостками и цепью фонарей, похожих на виселицы. В Гостином дворе — лавки: простые и для покупателей с *благопристойною физиономией.* Множество дрожек, и подле них: «Блины горячи!..» — «Сбитень!» — «Папуш­ники!..» Гремит железо, вздыхают мучные мешки, сбрасываемые у лабазов, и надо всем — тысячи воркующих голубей.

Каналы с деревянными срубами пустынны. Вереницы придворных шлюпок оживляют Неву.

Кажется, что играют несколько церковных органов. Это - роговая музыка. Трубы длиной до десяти футов стоят на подпорках. Каждый *игрок* может извлечь только один звук, имеет только одну ноту, «остальное на его листе суть павзы»... Веселятся по-разному. У Цепного моста на Мойке — трактир Ягужинского. Там бывают сочинители, «газетиры», цензоры, служащие типографии Академии наук.

Они заводят беседы о делах, до российской словесности принадлежащих, просиживают до пробития крепостной зори. Клубов еще нет в Петербурге, да и самое это слово еще произносить не умеют. Здесь истоки литературных содружеств. Это —

**ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛОБ.**

Низкая, со сводами, комната. Древняя зелень ползет из цветочных горшков на подоконниках. Стойка с посудой, темная от жира и водки, усеяна сухими мертвыми мухами. Сидят. Сумароков, корректор и наборщик академической типографии. В стороне сухощавый старичок в снежном парике читает книгу. Полумрак.

Сумароков напевает, откинувшись на спинку стула:

Приходите, братцы, вы,

Также и сестрицы,

Будто на берег Невы

Пить моей водицы...

— Хороши ваши любовные песенки, господин Сумароков,— говорит наборщик.

— Сам знаю, что хороши.

— Не пойму, отчего они господину Ломоносову не нравятся?

— Вчера мы говорили с Ломоносовым о русской литературе, и господин Ломоносов плакал... Ведь мы с ним в иное время были приятели, во всем согласны и друг от друга советы принимали. Я тогда еще тонкости стихосложения не знал.

— Для чего же ссоритесь? — вставляет корректор.

— Для того, что мне сочинений больше пускать в народ невозможно. Что ценсоры подпишут, то еще Ломоносов просматривает. Он истец, он и судья.

Входит трактирщик, сметает со стойки мух и, позвенев посудой, приближается, нагруженный графином и рюмками. Сумароков бросается на них, как железо на магнит.

— Вот что, брат наборщик,— говорит он, ставя на поднос рюмку и забивая ноздрю табачным сором.— Когда набираешь ты литеры для моих пиес, не ставь нигде ударений. Где светло, там свеч не зажигают.

— Господин Тредьяковский ставит.

— Так ведь он на всех языках пишет так же плохо, как на русском языке.

— Да, нужно признать, что пишет он шероховато.

— Скаредно, подло, гнусно, а не шероховато!..

Дверь скрипит, открывается, впуская кусок звездного неба и Тредьяковского, входящего прихрамывая и опираясь на палку.

— Обо мне, государь мой, говорить изволите,— раздается его голос.— Чувствую, что обо мне.

— Мы, Василий Кириллович, об ударениях толковали,— отвечает наборщик,— что они излишни.

— Излишни одни ошибки бывают, что у вас весьма часто. Он садится и произносит в пространство, не обращаясь ни к кому:

— Ненавидимый в лицо, презираемый на словах, прободаемый сатирическими рогами, стал я уныл, бессилен и от несносных обид вовсе изнемог.

Корректор — участливо:

— Кто же вас обидел?

— Господин Теплов за то, что я назвал его «барашком» (а его и подлинно в детстве так звали), ругал меня, как хотел, и грозил заколоть шпагою. Приносил я его сиятельству жалобу, но лакей сказал, что меня пускать не велено. А как я от природы (смею похвалиться) нахальства не имею, то, услышав такую непри­ятность, тотчас вон побежал.

— Вот особлив в своем многоречии! — бросает Сумароков. Тредьяковский не слышит.

— Поместил я в журнале оду, не проставляя своего имени. Напечатали и расхвалили. Сей случай низверг меня в отчаяние, ибо увидел, что презрение стремится только на меня, а не на труды мои.

— Поделом! — язвит Сумароков.— Для чего моих епистол похвалить не решился?

— Я их рассмотрел, но понял, что они — злостные, поносительные для меня сатиры, чего по самой беспристрастной совести апробовать не мог.

— Особлив, особлив! У кого еще голова так чадом наук набита?

— А кто стишки свои в журнал втирает? Кто гимн написал Венере — прескверной из богинь?

— Сам за вирши свои бит не единожды. Слова выдумал: «грековер», «астраканец«, «в трое ворот входильник»...

— Полно вам на меня нападать! — взмаливается Тредьяковский.— Прошу, оставьте меня отныне в покое!..

Тут входят Ломоносов и рыжий, весь в ссадинах, переводчик Барков.

Сумароков вскакивает, потрясая руками.

— Явился, злодей?! Не первый пьяница меня уже из ученых пьяниц обидел. Делается из-за них в издании моего журнала остановка. Прошу ценсором мне (и то не в *складе)* определить не пьяницу!

Ломоносов — устало:

— На кого намекаешь?

— На профессора Попова и на иных, о которых Академия не меньше меня известна. Есть еще такой Барков...

Барков подлетает:

— Чего изволите?

— Прочь, эротико-приапейская личность!

— Как ваша «Пчелка»? Жалит ли подьячих?

— Уймись, несносный человек! Ступай!..

Ломоносов садится к столу и говорит, подперев голову руками.

— Радуйся, Сумароков! Я уж вполовину отставлен, вскорости и вовсе выгонят. Не будет тебя Ломоносов ценсуровать.

— Неужто в немилости?

— О том не забочусь. Более угнетает меня бесстыдство моих противников... Тредьяковский сочинит, Сумароков в «Пчелу» примет, Тауберт напечатает без уведомления. Одному — я сам, другому — красноречие мое, третьему — история противны.

— История — от тщеславия,— замечает Барков,— сатиры — от зависти, красноречие — от несправедливо решенных тяжб.

— Напечатал Тредьяковский статью о мозаике,— продолжает Ломоносов,— совокупил грубое незнание с подлою злостью...

— Да я написал лишь, что картине, изображенной кисточкой, нельзя подражать в совершенстве кусочками стекла.

— Нет, нет! — мотая головой, твердит Ломоносов.— Опасно быть в то время писателем, когда больше критиков, чем сочинителей, большеругательств, чем доказательств.

— Ну, полно браниться, пора помириться! — говорит Тредьяковский.— Для чего омрачаем кроткий наш и безмятежный век?.. МихайлаВасильевич! — продолжает он шепотом.— Помиритесь с Сумароковым!

— Да я с ним и не ссорился. Вот вас извинить пока не в силах...

— Господин Ломоносов! — прерывает их наборщик.— Читали вы «Описание земли Камчатки» профессора Крашенинникова?

— Как же! Отменная книга!.. Умер Крашенинников. Поздно ему кафедру дали — нужда извела.

Сумароков зло говорит:

— Отец ездил в китайчатое и камчатное государства, а дети ходят в крашенине, оттого и Крашенинниковыми называются.

— Александр Петрович! — кричит Барков.— Песенку! Не то затяну эротико-приапейскую!

— Изволь!

Приходите, братцы, вы,

Также и сестрицы,

Будто на берег Невы

Пить моей водицы.

Все, что хочешь ты забыть,

Вечно то забудешь

И, престав в печали быть,

Жить в спокойстве будешь...

Барков опрокинул в рот рюмку, соловьем полощет горло. Ломоносов роняет голову на стол.

**ГЛАВА ДЕВЯТАЯ**

Старики.

Белый зимний день за окнами. Холодный свет омывает кабинет советника. Ломоносов и Шумахер сидят за столом. Оба зябнут, у обоих ломит суставы, струной сводит пальцы. Шумахер вовсе плох: страдает *непробуждав мой сыпучкой* — внезапно погружается и сон на шесть, на восемь суток...

Ясно, бело за окнами и в кабинете.

Зима, зима. Старики.

— Вам известно,— говорит Ломоносов,— что я прошлой весной лежал двенадцать недель в смертной постели и ныне тяжко болен. Частый лом в ногах и раны не допускают меня к исправлению должности.

— ...должности,— жует ослабевшим ртом Шумахер, повторяя про себя каждое слово, силясь ничего не забыть.

— Однако, будучи в здравом уме, разорения Академии терпеть не желаю. Это касается господина Шлецера, ибо он, едва бредя в русском языке с лексиконом, отважился составлять «Грамматику» да еще посягает на российские древности. Всего лишь год прожил в России — и уже сочиняет Российскую историю, требует себе труды Татищева и Ломоносова! И я принужден терпеть все эти наглости от иноземца, который еще только учится русскому языку!.. Знания его недействительны! Профессором быть он не может! И нет места!..

— Нет места...— повторяет советник.— Вы вполне уверены, что его нет?

— Разве, что оное нарочно сделали... В библиотеке все открыто Шлецеру сумасбродному. Кто допустил это?

— Я! — раздается голос входящего Тауберта. Он стоит, долговязый, рыжий, с каменным, выдвинутым вперед подбородком, и повторяет: — Это допустил я... Господин Шлецер сделал разумное предложение,— продолжает он резко,— издать списки летописей, сравнить их и таким образом получить верный текст.

— А как он то сделает? С помощью лексикона?

— Он сведущ достаточно.

— Так *вы* полагаете! Господин советник, я тотчас покажу вам «Грамматику»...

И Ломоносов стремительно покидает кабинет. Тауберт подходит к столу, шумно захлопывает журнал и произносит с досадой:

— С тех пор как президент ввел его в канцелярию — во всем остановка. Вы при нем говорить не смеете. Он один всем владеет. Писцы в полном его распоряжении.

— ...распоряжении,— цедит Шумахер.— Каково же распоряжение?.. Ах, да, понял, понял! Весьма плохо, мой друг!..

Открывается дверь. Входит адъюнкт исторического класса Шлецер, молодой, белобрысый, с крупными карими глазами и большим радостным ртом.

Он в отдельности кланяется советнику и асессору.

— Вы явились некстати,— замечает Тауберт.— Сейчас вернется господин Ломоносов. Не советую вам попадаться ему.

— Пустяки! — весело говорит Шлецер, и рот его раздирает счастливая улыбка.— Он не может простить мне «Грамматики», хотя сам так же мало слышал об ученой этимологии, как матрос о логарифмах. Он выдрал две строки, обегал всех вельмож и науськал их на меня.

— Все же лучше вам избежать столкновения.

— Не знаю, за что его у вас так признают? Набрался мудрости у нашего Вольфа в Марбурге и там же познакомился со своею *прачкой...*

— Господин Шлецер! Прошу вас, пойдемте отсюда! Я вам дам нужные манускрипты. В библиотеке вы проведете время успешнее.— И Тауберт, обняв адъюнкта длинной рукой, увлекает его за собой.

Шумахер, расставив локти, округлив ледяные глаза, смотрит в угол. Он ни о чем не думает. Теперь этим занимается Тауберт. Его, советника, время прошло.

Возвращается с «Грамматикой» Ломоносов. За ним, осунувшийся, сильно хромая, следует Тредьяковский.

— Извольте взглянуть,— говорит Ломоносов.— «Боярин» производится от «барана» и от «дурака». «Дева» — от нижнесаксонского Tiff— «сука». Напечатан ругательно высочайший титул российского дворянства: «князь» — то же, что «холоп»... Из всего можно заключить, каких только пакостей не наколобродит в российских древностях допущенная в них скотина...

И, оборвав, резко — к Тредьяковскому:

— Вам что?

— Упадая из болезни в болезнь,— тихо начинает Василий Кириллович,— как от Харибд в Сциллы, лишаюсь, как можете видеть, употребленья ног.

— Здесь не Медицинская канцелярия.

— Мне это известно. Только от разных человеческих приключений впал я в непрерывное затмение мыслей, более неспособен к продолжению службы и намерен ехать для житья в Москву.

— Что же вам надобно?

— Аттестат, государь мой, и деньги. Требую по законному праву жалованья за подписанные мною кавычные листы 1 и прошу представить президенту о моем пенсионе, дабы имел я чем свою бедную фамилиишку питать, не растворяя хлеб плачем.

И Тредьяковский, громко посапывая, начинает тереть глаз. Шумахер молчит. Он ни о чем не думает. Теперь этим занимается Тауберт.

— Корректуры читали вы по своей охоте,— говорит Ломоносов,— денег за это не следует. А насчет пенсиону — ничего не знаю, потому что отставка вам еще не дана.

— Итак, по всем пунктам отказываете? Тредьяковский встает, опираясь на палку.

— По двум лишь, в коих просите.

— А не по злобе ли, государь мой, так поступаете? Не за стишки ли терплю?.. Стыдно вам! Ведь я уже стар стал, дряхл, бессилен и самому себе в тягость.

— Поступаю по регламенту и указам. Молчит Шумахер.

Тредьяковский медленно идет к дверям, опираясь на палку, на пороге оборачивается, качает головкой и, ничего не сказав, уходит, громко сопя.

— Милостивый государь! — устремляется на советника Ломоносов.— Известно вам, что вскорости будет наблюдаться явление Венеры в *солнце!* Во всех обсерваториях при таких важных случаях бывают сонаблюдатели, но господин Тауберт поручил все дело одному Эпинусу. Русским астрономам в том отказано: они-де заведут *шаркотню* и заглушат часовой маятник. Я буду жаловаться в Сенат!..

Милостивый государь! — продолжает он.— В гимназии учители дают лекции в классах, одевшись в шубы, а ученики дрогнут, отчего по всему телу делается короста. Дом Строгановых на берегу Малой Невы должно взять под гимназию. Иначе для чего его покупать было? Господин Тауберт занял его под книжное дело. За это его под суд мало отдать!..

— Что вы сказали о Тауберте?..

— Что он разоряет Академию. На всякие постройки и пустоши суммы изошло до тридцати тысяч.

— Grundfalsch! — вскрикивает Шумахер.

— Не извольте кричать! Я и сам такой же полковник!

— Я не полковник,— шепчет старик.— Я — советник... советник... академической... канцелярии.

Голова его свешивается. *Сыпучка* мгновенно настигает Шумахера. Он дремлет.

Ломоносов смолкает. Стараясь не шуметь, поднимается, на цыпочках выходит из кабинета и тихо затворяет дверь.

*1 Корректуры.*

**2**

На экономических картах Канада, Гаванна и остров Табаго легли на одной широте, и на широте этой — Испании и Британии сделалось тесно.

Приготовления Пруссии и тревога за Ганновер заставили морское ведомство в Лондоне крепить паруса. Стали обновлять такелаж. В огромном количестве потребовалась пенька. Члены «Общества барышников» вспомнили о России, и английские галиоты стали вырастать у причалов петербургского порта.

Когда приходит последний корабль, англичане отправляются покупать пеньку.

Неторопливым шагом, молча, с поджатыми губами и туманной синевою глаз минуют они мост через Мойку и приходят к Пеньковым амбарам.

Они спрашивали хозяина. Приказчик кличет его, и «барышники» видят перед собой старика купца. Он сугорб, плохо держит голову, и когда ее нагибает, открывается красный, дубленый затылок. Некогда черная, в густом, крепком серебре, борода бела, как кипень, и так же белы брови.

— Пеньки вам? — говорит он тихо.— Извольте.

И подает *ценник* — прейскурант:

«Пенька чистосортная. Санктпетербургский гальфсрейн. За один шифсфунт — тридцать голландских гульденов».

— Тридцать гульденов?! Это не пойдет!

Англичане улыбаются.

— Десять. Русским золотом.

— Тридцать. Голландским.

Они поспешно откланиваются и переходят в другой амбар.

Та же картина.

Приказчик зовет хозяина. Является купец, *тот же,* с белой, как кипень, бородой. И снова:

«За один шифсфунт — тридцать голландских гульденов»...

Собирается толпа. Они ходят из амбара в амбар. Всюду — как привидение — вырастает купец. Всюду одно и то же. Только в одном месте им пришлось дольше обычного ждать. Разъяренные, почти бегом они возвращаются на свои корабли. Портовые грузчики хохочут им вслед и подражают их походке.

Они решили выждать.

Проходили дни. Недели. Две. Три.

Цена не падала.

Когда стукнул месяц, они смазали парики салом и пошли на заседание Сената.

Они спросили:

— Не разрешит ли Сенат приобрести пеньку на фабриках морского ведомства?

Им ответили:

— То, о чем почтенные гости просят, не запрещается российским законом: канатное сырье принадлежит партикулярному лицу.

Они устремляются на Выборгскую сторону, на склады канатных фабрик. Выбродив заваленный пенькою двор, находят партикулярное лицо. Это — все тот же, с дубленым затылком и белой, как кипень, бородою.

— Ты что же?! — восклицают они.— Весь Петербург закупил?

— Закупил,— отвечает он с усмешкой.— Привилегию имею. Лицо его вдруг брусвенеет, в запавших глазах молодо блестит зеленый огонь.

— Что?.. И вам в *жом пришло?* — говорит он, крутя невидимый жом крепкой рукою.— За костеришко свой взыскиваю, за прежнюю нашей торговли худобу... Или запамятовали?.. Еще удача нам, что я корабли под дым не спустил, а то и говорить с вами не стал бы...

«Барышники» переглядываются, отходят в сторону и держа совет:

— Мы разоримся!

— А если войну придется вести с этой самой Россией?

— Тогда и вовсе не купим. Нам нельзя медлить. И обернувшись к купцу:

— We must pay. Будем платить...

«У русских все без изъятия важные лица занимаются торговлей»,— говорили иностранные послы, жившие в Петербурге.

Появились целые села ремесленников. Подвинулась вперед крупная промышленность. Число фабрик и заводов перевалило за девятьсот.

Исчезали внутренние таможни. Страна делалась «вольным *торгом».* Но пустовали земли. От поборов и рекрутчины крестьяне бежали в степь, в Польшу, росла недоимка, и подготовлялась новая перепись для обложения всех, «не обходя *дураков».*

Так называемую Vermehrungspolitik можно перевести по-русски как «людоводство». Она занимала видное место в немецкой философии. Первое условие благосостояния — достаточное количество населения. Это была философия «общей пользы», мысль Лейбница — Вольфа. Фридрих Великий писал Вольтеру: «Я смотрю на людей как на стадо оленей, разводимых в парке крупным землевладельцем». Ломоносов был верен марбургской школе, его учили Лейбниц и Вольф.

Воевали с Пруссией, набирали рекрутов,— население убывало. Зато был взят Кенигсберг,— там печатались книги славянским шрифтом, и талеры бились с портретом Елисаветы и русским орлом.

Шувалов, брат мецената, писал о сохранении народа: единственная мера — ловить дезертиров. Сам же брал откупа, чеканил медь то по шестнадцать, то по восемь рублей из пуда — «пятикопеешники привел ходить в грош».

Рабочий день составлял четырнадцать часов — с четырех утра (с перерывом) до девяти вечера.

Шампанское пришлось *ко двору,* им орошались реляции о победах.

Учреждался род инквизиции, изыскивали корчемство, сибирские рудники наполнялись ссыльными.

Входил в моду чепец «королевино вставанье», и *фруктовая почта* возила из Астрахани виноград к монаршему столу.

Он жил в собственном доме на берегу Мойки. Очищал и прививал в саду деревья.

Он был статским советником, имел членство Болонской академии, в его единственное ведение отданы гимназия и университет...

На широком крыльце был накрыт холстиной дубовый стол, и Ломоносов в китайчатом халате, с раскрытой грудью, заложив за ухо перо, беседовал с Шуваловым.

— Ну, я рад за тебя,— говорил, играя золотым камергерским ключом на голубой ленте, щурившийся от солнца гость.— А сам ты доволен своим жилищем?

— Весьма! Тут все по моему плану сделано. О бонновском доме не думаю — пусть в нем Сальхов живет. Хотя ему лаборатория досталась, на что я столько труда извел,— того мне жалко.

— Но тебе обучение юношества отдано. Ты ведь этого более всего хотел.

— Мое единственное желание — привести в вожделенное течение гимназию и университет, откуда могли бы произойти многочисленные Ломоносовы!

Шувалов улыбался. Вытянутые губы его собеседника вздрагивали, лучики таяли у глаз, вскинутое лицо молодело.

— Но покуда, Иван Иванович, дела неспешно идут. Дом Строгановых под кунсткамеру занят, в демидовском доме ученикам места нет, но Тауберт и туда влез — изволит в погребе держать пиво немалым числом бочек... Впрочем, прежний порядок я вывел. Что было! Ворота и калитка к реке наглухо запирались, студентов ни днем, ни ночью никуда не выпускали. Во дворе — часовой с ружьем и бессменный ординарец, а в доме для частых усмирений — целая команда солдат...

— Михайла Васильевич,— перебил Шувалов,— я с великим удовольствием прочел письмо твое о размножении народа. Ты его когда же написал? Весной?

— Записки мои касательно общей пользы от прежних лет остались, а сейчас пришло время опять за них взяться. Война идет, будет новая перепись, и побежит от военной службы много народу.

— А верно ли ты о беглых судишь?

— О живых покойниках? Иначе нельзя и думать... Сделаны на границах форпосты (брат ваш придумал), но столь обширной скважины, как рубеж, силою запереть совершенно невозможно. Лучше поступить с кротостию.

— То есть как?

— Побеги от помещичьих притеснений бывают и от солдатских наборов. Лучше пограничных жителей облегчить, наборы разложить по всему государству, а в иных местах и совсем снять.

— Мысль твоя такова, что для общей пользы нужно размножать население?

— Конечно. Людей разводить надо. И притом беречь. К примеру — вошло у помещиков в обычай затевать неравные браки между крепостными. Таковое насилие пора запретить.

— Да ведь это у дворян права отнимет.

— Русский народ гибок,— резко сказал Ломоносов.— Терпел же крестьянин, и дворянин может потерпеть...

Застоявшиеся рысаки ржали у ворот. Над забором торчал верх кареты.

Елизавета сидела у окна, держа на коленях толстую Lenchen. Ветер трепал ее волосы, белые и легкие, как ковыль.

— Межевание проводить надо,— проговорил Ломоносов.

Шувалов засмеялся.

— Да и ты гибок. От сего народу легче не станет... А о запрещении браков вздорно придумал. Дворянство новых вольностей ожидает, а ты у него прежние отнять предлагаешь... Ну, полно об этом! Скажи-ка лучше, в чем этой зимою изрядно успел?

— Основания металлургии составил. Намерен сочинить описание руд и показать приметы для точного прииску оных. Горное дело у нас в плохом состоянии находится. В рудокопных ямах светят лучину. Рудник ежели водою зальется — его покидают, что, можно сказать, подобно расхищению казны...

Он сидел, красный от солнца, рубя ладонью воздух и воздвигая крепкую кладку слов, точно пригоняя камень к камню.

— Не худо бы в економии нашей от соседей своих освободиться. Ибо это постыдно! Правда, еще многие города наши легко немцы за деревни принять могут. Правда, еще русский купорос, бакан, охра, ленты и гвозди работою весьма плохи, а ценою выше заморских. Но все надобно делать лучше и умножать русский вывоз, уступая товары, в коих сами малую нужду имеем. Должна Россия обходиться без помощи чужестранных мануфактур!

— Так, так, друг мой! — соглашался гость, кивая головой, играя золотым ключом на голубой ленте.— Ну, а какие опыты произвел?

— С цветами, чтобы узнать, ярче ль они в теплоте или на морозе... Приметил, что колебания струн с колебаниями света сходны... Писал о ходе Северным океаном в Индию, с инструкцией, как делать в пути измерения.

— Предприятие это в тайне содержать должно,— заметил Шувалов.— До времени не надо и Сенату объявлять...

Он поднялся. Ломоносов поспешно встал и, склонив голову с торчавшим за ухом пером, произнес, приложив к голой груди пухлую руку:

— -Ваше превосходительство! Попросите в высочайшем месте, чтобы меня вице-президентом сделали. Академию ведь с одного конца хотят чинить, а с другого портят,— должность таковая весьма нужна...

**3**

На пятьдесят третьем году веселой жизни умерла *Елисавет, искра Петра Великого,* и, недолго почудив, кончился Петр Федорыч, умер «от геморроидальной колики». А может, и от чего другого. Может, просто затянулись на его шее салфетка или шарф и чье-нибудь колено придавило грудь...

А потом — роспись, сколько в Петербурге выпито вина и растащено посуды. А потом — «при общем ликовании» — началась Екатерина.- «Народ, который поет песни,— говорила она,— не мыслит худого». А как народу не петь, когда для него устроены фонтаны из чистой водки; на улицах лежат жареные быки, их головы начинены серебром, и серебро надо достать, и это — праздник. *Быков рвать* — называлась эта веселая работа.

А он сидел. Он грустил. Он тоже не мыслил худого. Хотя и не пел. Одно слово кружило над ним, готовое уклюнуть в темя. А слово было: отставка, абшид. И знал: того не миновать.

Книги лежали перед ним, излишние, юношеские, он с ними прощался. И записи лежали перед ним — цифирь, скоропись (стишки и более всего — догадки): мелочь, оставшаяся от прежних лет.

И если бы кто вошел, подумал бы: как он зябок! Потому что на дворе июнь, а в комнате топят камелек.

А это он жег излишнее, юношеское, давал всему такому полный абшид. Вот уже улетели в огонь фрейбергский дневник и письма Елизаветы, «Хождение за море великой особы», вот улетит и список с памятной книжки Петра.

...«Хождение за море» — вздор! Памятная книжка — иное дело! Ее — оставить... Да, любопытно! И *ему* надо было все узнать, все осмотреть!..

«Яворскому — о школах.

О гробах дубовых.

О замысле.

О особливом приказе о лесах.

Чтоб провесть воду с верху Невы по низу и сделать маленькую плотину и колесо поставить.

О пословицах русских.

Где навоз класть: против Михайлова двора и [ли] за [го] шпиталем.

О школах воинских, торговых и прочих.

О посылке учиться от города всем.

Яшку спросить про князя Михаилу Ромодановского.

Кто объявит, кто скрывается — тому всё.

О шляпных мастерах.

Сыскать о Колумбовой смерти.

Отписать Стельсу о кишке, которую обвязывают круг себя, как через воду ходить...»

И тут будто заскрипело у ворот, и вошли невзначай две Екатерины — одна — Вторая, императрица, и просто, без номера, Екатерина — Дашкова, императрицын друг.

А он в глубокой задумчивости будто их не заметил, глядя на огонь, который, «словно прощаясь с хозяином, то вспыхивал, то угасал».

И будто сказала императрица: «Здравствуйте, Михаила Васильевич! Я приехала с княгинею навестить вас, услышав о вашем нездоровье или, лучше сказать, о вашей грусти». А он ответил: «Нет, государыня, не я нездоров, не я грустен,— больна и грустна душа моя».

А Дашкова сказала: «Ее величество говорит мне: наш Михайло Васильевич что-то слишком закручинился. Поедем к нему. Он нас любит, а из любви чего ни делают...»

И так утешали его, ведя к тому, чтобы он был спокоен, хотя *она* и немка, а потом смотрели химические опыты, и стекло, и мозаику, и ночезрительную трубу.

А при отбытии — милость: «Завтра приезжайте ко мне откушать хлеба-соли. Щи у меня будут такие ж горячие, какими потчевала вас ваша хозяйка».

И все то было — сплетня. И вовсе не так.

Верно, что заскрипело у ворот и вошли невзначай высокие гости. Только Дашковой там не было, она жила вдали от *двора,* а были Екатерина, Григорий Орлов, Олсуфьев и некоторые из статс-дам.

И *она* вплыла, шумя атласною робою, водя по стенам голубовато-белесыми глазами. Глаза были немецкие, они сразу увидели: много пыли, есть грязь, и живут плохо. А лицо у нее было пухлое, важное и — как нарумяненный воск.

Она ступала шаг, и ступали шаг Орлов и Олсуфьев и статс-дамы. И она спрашивала не очень ласково и не сердито, а просто ни так и ни этак: что вот это и что то?

Он суетился, объяснял, показывал, забегал справа и слева. Его ударяло в пот и в краску, и он сам себе изумлялся, потому что уже двадцать лет ни перед кем не робел.

А потом понял: это оттого, что она смотрит ни так и ни этак, с прохладой, а то — знак недобрый: время его пришло к закату, он — мелочь, оставшаяся от прежних лет.

Но она улыбнулась, а он осмелел и даже вздумал жаловаться: в Академии... Тауберт норовит показать себя чужими трудами, а его выключить от участия во всем...

Она подобралась, глянула холодно, сквозь него, и сделала вид, что не слышит.

Тогда он стал просить, чтоб ему выдали из Минерального кабинета известия, нужные для описания руд.

Она кивнула: это, мол, можно. И прибавила шагу. И все прибавили. Еще им осталось смотреть химические опыты, стекло, и мозаику, и ночезрительную трубу.

А когда всё уже высмотрели, он стал показывать последнюю свою машину, которая, поднимаясь кверху сама, могла поднять маленький термометр. Что-то не ладилось. Он пыхтел, старался, но все не выходило. И *она* отвернулась, зевнула, а его словно ожгло, и он от злости потемнел.

Он потемнел, выпрямился и положил руку на ящик с коллекцией минералов. И рука была влажная — стекло затуманилось, а под ним — пробы: сибирский и уральский камень. И так он стоял, опираясь на Сибирь и на Урал.

И вспомнил: во Фрейберге... Седой бобр задыхается, выгоняет из кабинета... Ящик взлетает над головой. Щепы трещат на полу, и пестрые сиениты, фонолиты и кварцы твердыми брызгами бьют по ногам... Кого?.. Генкеля?.. Высокую даму в атласной робе?.. И тут — пухлая ручка тянется к его губам.

*Она* отбывала.

И он заспешил и поцеловал пухлую ручку, изобразив усердие и верность всею своей фигурой. Ему улыбнулись и милостиво кивнули. Чего же больше?.. Но он-то знал — это ведь она писала Олсуфьеву (и, значит, нельзя верить!):

«Адам Васильевич! Я чаю — Ломоносов беден: зговоритесь с Гетманом, не можно ли ему пенсион дать, и скажи мне ответ».

**4**

В один этот век нидерландская семья Бернулли дала восемь математиков.

В Германии Лейбниц открыл дифференциалы. Ньютон оспорил у него славу открытия. Мало ему было *яблока* весом в целую вселенную. Но яблоки падали в разных садах.

В Петербурге от Эйлера узнали об интеграле. Германия дифференцировала. Эйлер был немец. Но это было дело России — обобщать.

Одновременно в разных концах света открыли электричество.

Ньютон заподозрил, что теплота есть форма движения.

Капитан русской службы Беринг достиг через Сибирь Америки.

Измерили земной градус, доказали сплющенность земли, усовершенствовали телескоп, барометр, термометр.

В свете увидели волнообразное движение тонкого и упругого вещества, наполняющего мир.

Дело России было — обобщать. Ломоносов постарался сразу за два века.

Он первый установил закон сохранения вещества, покончил с флогистоном и ввел весы в химию до Лавуазье, которому приписывают все три эти заслуги.

Атмосферное электричество объяснил взаимным трением частичек паров. Открытие было признано за ним спустя восемьдесят лет профессурой Московского университета.

Дал предварение атомистической гипотезы. Вращательным снижением частиц объяснил явление теплоты, перекликнувшись спозднейшей теорией вихревых атомов Вильяма Томсона.

Во время прохождения Венеры через диск солнца велись наблюдения на обсерватории. Он сидел дома с закопченным стеклом. Товарищи его ничего не открыли. Он обнаружил атмосферу. Ни в Петербурге, ни за границей это впечатления не произвело.

Подметил кристалличность золота и меди, сходство их кристаллов с кристаллами солей. Образование залежей каменной соли объяснил испарением отделившихся от моря замкнутых бассейнов. Доказал растительное происхождение каменного угля и янтаря.

Нашел закономерность строения кристаллов, один из первых в Европе стал мерить углы их.

Дал учение о растворах, новую теорию о свете, проект «хода Северным океаном в Индию», предвидя существование свободных ото льда пространств. Спустя сто восемь лет по указанному им пути прошел австрийский ученый Пайер.

Он брызнул осколками. Жажда! Надо было напоить два века. Иначе было нельзя. Европа смотрела без восхищения и молчала.

В Германии подрастал Гёте. Скоро он начнет ощупывать мир, испытывать свет, колебания струн, смотреть, ярче ли краски в теплоте или на морозе. Его назовут «зеркалом вселенной». Он скажет: «Только все люди вместе познают природу». Ибо сам станет познавать ее вместе со всеми, «в безмерном углубя пространстве разум свой».

В безмерном углубя пространстве разум свой,

Из мысли ходим в мысль, из света в свет иной...

Он лежал в саду под яблоней, разложив на теплой земле рукописи и книги.

Имение прилегало к морю. Осень выжелтила луг со службами и стеклянным заводом, зажглась за соломенным валом у мельничной плотины острой кровью рябин. На опушке леса стояла лесопилка с метеорологической вышкой и самопишущим анемометром. Лес изламывался на взгорье и полого спускался к речке, сквозя тонкой листвой, охваченный ровным золотым тлением. И тление, опрокинувшись, стояло в воде.

Тепло и сухо пахло елью.

Клейкая, путалась и не могла слететь с дерева паутина.

Он снял парик и вытер им потное лицо. Череп его был гол и блестящ. Шея стала такою же, как у отца: медной от солнца, иссеченной в крупную косую клетку.

«Умер Виноградов,— подумал он,— Рихман, Крашенинников. Профессор Клейнфельд удавился. Он у меня учеником был...»

Яблоко упало в траву. Сгоревший лист, кружась, слетел на раскрытую книгу.

«И я также вскорости... Только б дела мои не погибли со мною!.. С университетом что станется? Произойдут ли из него и когда многочисленные Ломоносовы?»

Солнце легло на книгу, зажгло на титуле буквы: «Gulliwer's Reisen... Ionathan Swift».

В траве часто, коротко засипело.

Он вспомнил свой приезд в Петергоф год назад, на Петров день, когда, еще только подъезжая к дворцу, уже знал неудачу и жаловался кузнечикам.

...Песок скрипел на дорожках. В расчищенных аллеях было убрано *устрецовыми звуками* — раковинами, звучащими при ветре. Голуби поднимались с приморских галерей.

Императрица обедала в парке. Кругом стояли ширмы от солнца. Посеянные «для увеселения ее величества», разливались овес, жито, ячмень.

— Здравствуй! — сказала она.— Правда, что в Москве черная воспа ходит?

— О Москве не слыхал. Знаю лишь, что там нет университета.

— Опять просишь?

— Соизвольте пожаловать привилегию.

— Да что ты с нею торопишься? У меня иностранные трактаты по году лежат...

Кузнечик стрельнул в синеву, будто растаял в воздухе.

Он вспомнил другое — свой арест в Академии, караульного прапорщика, писавшего донесения: «Арестант обриться желает, просит цырульника»; «не знаю, для чего, не хочет говеть»...

Проходили крепостные, кланялись. Он не замечал их. Тихо закипал в нем гнев.

«Дана мне была благородная *упрямка* на распространение наук в отечестве, что мне всего дороже. Я тому себя посвятил, чтоб до гроба с неприятелями наук российских бороться. Стоял за то смолоду — под старость не покину!»

Взмахом руки зачеркнул неприятелей наук и раскрыл тетрадку.

«О переменах тягости по земному глобусу... Только что начато!.. А ведь кончать надо, кончать...»

Бархатка, осенний мотылек замер на его медной шее, как на коре дуба.

С голой головой, большой и спокойный, он водил коротким пальцем меж строк таблицы.

Все теплей и суше пахло елью. Несло паутину, и по неисследимым часам падали яблоки.

«Переменяется ли центр, к которому стремятся тела, или же стоит неподвижно?..»

Яблоки падали в разных садах.

***1930—1931***